

Даниил МОРДОВЦЕВ

ДВЕНАДЦАТЫЙ ГОД



Серия исторических романов

Даниил Мордовцев

Двенадцатый год

«ВЕЧЕ»

1880

Мордовцев Д. Л.

Двенадцатый год / Д. Л. Мордовцев — «ВЕЧЕ»,
1880 — (Серия исторических романов)

Грозен был год 1812-й. Пришел на землю Русскую Наполеон-корсиканец, и застонала земля, содрогнулась от топота конского. Сшиблись драгуны французские с русскими уланами. Эскадроны один за другим понеслись стройно, ровно, словно на параде. Ноги в стремях, сабли в руках, а в сердце – огонь! Так и мчались они, пока в ряды их не ворвалась смерть... Могла ли дочь славного гусара Дурова усидеть на месте в такой роковой момент? Осенней ночью, да с полною луною в придачу, простившись лишь с котом Бонапартом, псом Робеспьером да косматою дворняжкой по кличке Вольтер, храбрая кавалерист-девица покинула отчий дом и подалась в казаки. А куда ж еще? Кто еще может защитить родину-матушку, коль на земле такой «кабак» начался?.. Роман «русского Вальтера Скотта», Даниила Мордовцева, по праву считается одной из самых ярких и живых книг из истории героических дней, о которых уже второе столетие «недаром помнит вся Россия».

Содержание

Об авторе	6
Избранная библиография Д. Л. Мордовцева	7
Часть первая	8
1	8
2	13
3	19
4	25
5	31
6	37
7	43
8	50
9	57
10	64
11	70
12	79
Конец ознакомительного фрагмента.	86

Даниил Мордовцев Двенадцатый год

* * *

© ООО «Издательство „Вече“», 2014

© ООО «Издательство „Вече“», электронная версия, 2016

Знак информационной продукции 12+

Об авторе

Известный русский и украинский писатель и историк Даниил Лукич Мордовцев родился 7 (19) декабря 1830 г. в слободе Даниловка быв. Ростовской губернии. Его отец был управляющим помещичьей слободой, мать – дочерью местного священника. Даниил был младшим ребенком в семье. Отец умер, когда малышу еще не исполнилось и года. Мальчик учился сначала у слободского дьячка, потом окончил окружное училище и саратовскую гимназию. В 1850 г. юноша поступает на физико-математический факультет Казанского университета, но его уговаривают перейти на историко-филологический факультет, откуда Даниил в следующем году переводится в Петербургский университет, по окончании которого уезжает в Саратов, где служит в губернской канцелярии и одновременно редактирует неофициальную часть «Губернских ведомостей». Пользуясь возможностью собирать разнообразный исторический и фольклорный материал, Мордовцев часто ездит по губернии. Часть собранного материала публикует в виде очерков в тех же «Губернских ведомостях». В 1859 г. вместе с Н. Костомаровым публикует «Малороссийский литературный сборник», куда включает свои произведения на украинском языке. Первым значительным литературным произведением на русском языке стал исторический рассказ «Медведицкий бурлак» (1859).

В 1864 г. Мордовцев переезжает в Петербург, где поступает на службу в Министерство внутренних дел, но через три года возвращается в Саратов. В волжском городе он служит в комиссии народного продовольствия, попечительском тюремном комитете, губернской канцелярии и статистическом комитете. Наряду с этим Мордовцев занимается историческими исследованиями, публикуя свои статьи в таких солидных журналах, как «Русское слово», «Русский вестник», «Вестник Европы». В журнале «Дело» публикуются очерки Даниила Лукича «Накануне воли», где реалистично показаны жизнь и взаимоотношения крестьян и помещиков. Очерки эти вызывают неудовольствие начальства. Весной 1872 г. Мордовцева отправляют в отставку. Он снова едет в Петербург, где издает свои исторические труды «Гайдамачина», «Самозванцы и понизовая вольница», «Политические движения русского народа». В 1870-х годах Мордовцев публикует в «Отечественных записках» ряд статей, написанных в полуюмористической форме от имени мистера Плумпудинга. Эти произведения пользовались большой популярностью.

С конца семидесятых годов писатель почти целиком посвящает себя историческому роману. Он обнаруживает здесь недюжинную работоспособность. К лучшим произведениям писателя относят романы «Великий раскол», «Идеалисты и реалисты», «Царь и гетман», «Наносная беда», «Лжедмитрий», «Двенадцатый год», «Замурованная царица», «За чьи грехи?». Д. Мордовцев не раз выезжал за пределы Российской империи и умел рассказать о зарубежной жизни. Его перу принадлежат путевые очерки: «Поездка в Иерусалим», «Поездка к пирамидам», «По Италии», «По Испании», «На Арарат», «В гостях у Тамерлана» и пр. Мордовцев также был автором популярных культурно-исторических очерков: «Русские исторические женщины», «Русские женщины нового времени», «Ванька Каин», «Истории Пропилеи» и др. Собрание его сочинений, изданное в 1901–1902 гг., состоит из 50 томов.

Весной 1905 г. писатель заболел воспалением легких. Он уезжает сначала в Ростов, а потом в Кисловодск, надеясь, что кавказский климат вылечит его, но этого не произошло, и 10 (23) июня 1905 г. Даниил Мордовцев скончался. Его похоронили в Ростове-на-Дону, на Новоселовском кладбище, в фамильном склепе. В советское время интерес к творчеству «русского Вальтера Скотта» и «одного из самых читаемых в России беллетристов XIX века» резко упал. Только с начала 1990-х гг. снова стали выходить исторические романы этого неординарного писателя. Остается сожалеть, что он еще недостаточно известен современному читателю.

Избранная библиография Д. Л. Мордовцева

- «Знамена времени» (1869)
- «Идеалисты и реалисты» («Тень Ирода») (1876)
- «Великий раскол» (1878)
- «Наносная беда» (1879)
- «Лжедмитрий» (1879)
- «Двенадцатый год» (1880)
- «Царь и гетман» (1880)
- «Сидение раскольников в Соловках» («Соловецкое сидение») (1880)
- «Господин Великий Новгород» (1882)
- «Замурованная царица» (1884)
- «Видение в Публичной библиотеке» (1884)
- «Москва слезам не верит» (1885)
- «За чьи грехи?» (1891)
- «Державный плотник» (1895)

Часть первая

1

Полный месяц, ярко вырезываясь на темной, глубокой синеве неба, серебрит темную зелень сада и заливают серебряным светом широкую аллею, усыпанную пожелтевшими листьями. Тихо, беззвучно в саду, так тихо, как бывает только тогда, когда подходит осень и ни птицы, ни насекомые не нарушают мертвенной тишины умирающей природы. Только слышен шелест засохших листьев: кто-то идет по аллее...

Месяц серебрит белое женское платье и непокрытую женскую, глубоко наклоненную головку.

– Первый раз в жизни она приласкала меня... Неужели же и в последний?... Ах, мама, мама! За что ты не любила меня?... За то, что я не похожа на девочку, что я дикарка?... Бедный папа! Ты один любил меня – и от твоего доброго сердца я должна оторвать себя... Папочка, папочка милый! Прости свою Надечку, прости, голубчик...

Не то это шепот, не то шорох белого платья, не то шелест сухих листьев, усыпавших аллею... Нет, это шепот.

В конце аллеи виднеется небольшой деревянный домик с мезонином – туда направляется белое платье. В двух крайних окнах домика светится огонек.

– В последний раз я вхожу в мое девическое гнездышко...

Стоящая на столе свеча освещает лицо вошедшей. Это высокая, стройненькая девочка лет пятнадцати, с бледным, продолговатым лицом. Белизна молодого личика почти совсем не оттеняется светло-русыми волосами, которые, почти совсем незаплетенные, длинными прядями падают на плечи и на спину. Личико кроткое, задумчивое и как будто бы робкое. Только черные, добрые глаза под совершенно черными бровями составляют резкий контраст с матовою белизною лица и волос. Плечи у девочки и грудь хорошо развиты.

– Надо проститься с папочкой не в белом платье, а в черном капоте – он его любит, – говорит девочка и, закрывшись пологом стоящей тут же кровати, наскоро переодевается.

Глаза ее останавливаются на сабле, висящей на стене. Сабля старая, видимо, бывавшая в боях. Девочка снимает ее со стены, задумчиво смотрит на нее, вынимает из ножен и целует блестящий клинок.

– Милая моя, – шепчет странная девочка, – а холодная, как мама... Теперь ты будешь моею мамою. Я играла с тобою маленькою... у меня не было кукол, а ты была у меня... Уйдем же с тобою вместе... ты будешь моим другом, моим братом, моею славою... С тобою я найду свободу... Мама говорит, что женщина – раба, жалкое существо, игрушка мужчины... Нет, я не хочу этого – с тобой я буду свободна... Что ж, тогда ничем другим женщина не может добыть себе свободы, кроме сабли?... Да и мужчины тоже – не они правят миром, а сабля да пушка... Папа часто говорит это... Ах, папа мой! Бедный папа!..

Она прислушивается. В саду слышен шелест сухих листьев.

– Это он идет – мой папочка... Ох, как сердце упало... Папа! Папа! это твоя кровь говорит во мне, ты вложил в меня беспокойную душу... Папа мой! Папа!

Она торопливо вешает саблю на стену. Шаги уже не в аллее, а в сенях. Отворяется дверь. На пороге показывается мужчина в военном платье. Лысая голова с остатками седых волос и седые усы странным образом придают какую-то моложавость открытому лицу с живыми черными глазами. Он ласково кладет руку на голову девочки и с любовью смотрит ей в лицо.

– Ты что такая бледная, девочка моя? Здоровая ли? – говорит он с участием.

– Здорова, папочка.

А сама дрожит, и голос дрожит – в молодой груди что-то словно рвется. Она не поднимает глаз. Он берет ее за руки, привлекает к себе...

– Что с тобой, дитя мое? У тебя руки как лед, сама дрожишь... Ты больна?

– Нет, папа... Я устала, озябла...

Он опускается в кресло, а девочка припадает головой к его коленям и ласкает его...

Он тихо гладит ее голову.

– Ах, ты моя старушка, – говорит он с любовью. – шутка ли? Сегодня шестнадцатый год пошел... совсем большая – чего большая! Старуха уж... Ишь отмахала – пятнадцать лет!.. А сегодня скакала верхом на своем Алкиде?

– Нет, папочка, – ведь гости были.

– Да, да... Ну, завтра наскочишься...

Девочка невольно вздрагивает... «Завтра... где-то я буду завтра?» – щемит у нее на сердце.

– Теперь ты совсем молодцом едешь, – продолжает отец. – И посадка гусарская, и усест кавалерийский – хоть на царский смотр... Эх, стар я, а то бы взял тебя с собой против этого выскочки-корсиканца, против Бонапарта... Он что-то недоброе затевает – того и гляди пойдет на Россию...

Девочка молчит и еще крепче прижимается к коленям отца.

– Эх ты, гусар! А сама дрожит как осиновый лист, – говорит последний и ласково приподнимает голову дочери. – Иди-ка сюда, на руки ко мне, на колени... Я буду твоим Алкидом... Вот так-то лучше... Дай я тебя согрею...

И он сажает ее на колени к себе, обнимает. Девочка обвивается вокруг отца, шепчет только:

– Папочка мой, дорогой мой, папа добрый...

– То-то, добрый... Ишь, дрянь какая... И плечишки дрожат... Ах, ты моя милая, крошечка моя золотая, Надечка моя... Что-то мне тебя жалко сегодня, мою девочку. С мамой прощалась на ночь?

– Прощалась, папа.

– Ну и что ж?

– Она сегодня такая добрая – поцеловала меня...

– Ну и слава богу... А теперь раздевайся да ложись спать... Тепло ли тебе под одеяльцем?

– Тепло, папочка...

«Под одеяльцем... А сегодня моим одеяльцем будет ночка темная, небо голубое, – прощай, моя постелька... не сидеть уж мне на папиных коленях», – снова щемит сердце.

Он встает и крестит голову дочери.

– Ну, прощай, покойной ночи, спи хорошенько, – говорит он, нежно взяв ее за подбородок. – Прощай, пучеглазая...

И он уходит... Пучеглазая бросается на колени и целует пол – то место, где стояли ноги отца. Слезы так и полились из переполненных глаз... «О, мой папа! Мой добрый, мой друг!.. Один ты у меня был на свете – и тебя я покидаю...»

Шаги отца слышатся на лестнице, ведущей в мезонин. Вот он наверху – шаги слышатся над головою... Шаги дорогого существа, шорох платья милой – это тот же шепот любви, шепот признанья... «Дорогой мой папочка... не буду уже больше никогда я прислушиваться к шагам твоим, к голосу твоему милому, ласковому...»

Девочка встает с полу и подходит к зеркалу, висящему на стене рядом с отцовскою саблей. В зеркале отражается бледное, заплаканное личико.

«Прощай, мой милый капот, – я его папе оставляю на память...»

Девочка снимает с себя капот и остается в одной беленькой сорочке. Так она кажется еще моложе – совсем ребенок. Потом берет со стола ножницы, подносит их к своей белокурой, совсем растрепавшейся косе... «Вот и пострижение мое... прощай, коса девичья, прощай, краса рабыни, – историческая крепостная запись женщины на вечное рабство... Ах, мама, мама! Теперь я не раба...»

Скрипят ножницы, с трудом перерезывая белокурые пряди косы одну за другою...

Великий шаг для женщины – исторический шаг! Обрезать косу в 1806 году, когда и теперь стриженная женщина считается чуть ли не чудовищем, решиться на такое дело в 1806 году, когда даже непокрытая женская голова позорила эту голову в глазах большинства, – это был исторический подвиг. И этот исторический подвиг в 1806 году совершает пятнадцатилетняя девочка.

Обрезав косу вкружало, по-казацки, она кладет отрезанные пряди в стол... «Папочке на память – он любил мои волосы, любил „льняную головку“...»

– Теперь я совсем казачонок, – шепчет она, глядя на себя в зеркало. – Совсем выросток казачий – и лицо у меня другое, – никто не узнает, что я девка, барышня...

Но вдруг румянец заливает ее бледные щеки: сорочка спустилась с плеч и открыла ее белые девические груди, небольшие, но круглые, упругие...

«Ах, противные... вот где я женщина... Но я вас затаю в чекмень¹ – никто не увидит, никто не догадается, что там под чекменем... И женскую сорочку долой – у меня припасена мужская...»

Странная девочка уходит за полог постели и через несколько времени выходит оттуда совсем преобразившеюся. Это действительно казачонок, «выросток» – такой стройненький, с «черкесскою тальей». На голове – высокий курпейчатый кивер² с красным верхом... кивер сидит набок, молодцевато. Синий чекмень перетянут кушаком. На широких шароварах ярко вырезывается красный широкий лампас... Плечи широкие, грудь высокая, словно у сокола, – никто и не заподозрит, что она, грудь эта, не форменная, не мужская...

Она привязывает сбоку отцовскую саблю – звякает сабля, словно кандалы... «Ох, папочка услышит... Нет, он спит уж – не слышать его шагов милых...»

Она осматривает стены своей комнаты, окна, свой стол, долго глядит на постель и, наклонившись над изголовьем, целует подушку... «Прощай, мой друг, мой немой собеседник... Даже и ты не знала, что думала голова, которая на тебе покоилась...»

– А! ты не узнал меня, милый Бонапарт, – пятишься от меня... Глупый, глупый, – это я, Надя, у которой ты всегда спал на ногах и которая сливочками тебя кормила... Прощай, Бонапартушка.

Последние слова относились к черному большому коту, который, не узнав своей госпожи в новом виде, ежился и пятился от нее.

– Прощай, Бонапартушка... Я иду воевать с твоим тезкой... А кто-то тебе будет сливочки давать?

И она гладила Бонапартушку. Бонапартушка, поняв, в чем дело, самодовольно мурлыкал и выгибал свою бархатную спину. Потом она достала из комода две небольшие кожаные переметные сумки, заранее ею приготовленные, и, взяв свой черный капот с другими принадлежностями женского туалета, тихо задула свечу, снова поцеловала то место пола, где в последний раз стояли ноги ее отца, и вышла в сад. Услышав шаги, собаки бросились за ней и залаяли, но она тотчас же остановила их, назвав по именам. Собаки стали ласкаться к ней и лизать ей руки.

¹ Чекмень – верхняя мужская одежда у татар.

² Кивер – военный головной убор.

– Прощай, Робеспьер, – сказала она огромному псу, большому охотнику на чужих цыплят. – Узнаешь ли ты меня, как я ворочусь лет через десять?

Робеспьер неистово махал хвостом и подпрыгивал, желая облапить барышню.

– Прощай и ты, Вольтер.

Вольтер – это была косматая дворняжка, непримиримый враг всякой свиньи, будь она чужая или своя: Вольтер оборвал хвосты почти у всех свиней, какие только были по соседству, но зато он очень любил свою барышню и спал у нее на крыльце.

Девушка, провожаемая собаками, дошла до калитки сада, выходявшей к реке. Это была Кама-река. Собакам она не велела идти дальше, а сама, выйдя из калитки, заперла ее. Бросив на берегу реки свой женский туалет, чтоб заставить всех думать, что она утонула, девушка пошла на гору, возвышавшуюся над городом. Что задумала эта странная девочка? Куда тянет ее молодое, несутерпчивое сердце?

Осенняя ночь с полной луною необыкновенно светла. Мертвая тишина, царствовавшая кругом, придавала ей что-то строгое, внушительное. Не видно нигде людей, не видно их вечной суеты, не видать ни тайных дел их, ни тайных дум, прикрытых пеленою ночи и запечатанных печатью молчания; но почему-то чудится, что это великое око ночи видит все – заглядывает и в темную гущину леса, и в мрачные пропасти, видит и то, что прячут люди от людей...

Возвышающий душу страх охватывает бесстрашную девочку при виде этой строгой картины ночи. Вдали за Камой тянется бесконечная темень лесов, и там, где вершины их не серебрятся луною, они кажутся не лесом, а бездонными пропастями, в которых ничего нет, кроме смерти. Кое-где между пропастями блестит поверхность лесных озер – холодною сталью кажется эта поверхность, и от воды, как и от пропастей, веет холодом смерти... У ног, под горою, ютится спящий город, где проведено детство и отрочество странной девушки, и как ни охотно покидает она этот город, как ни бесстрашно меняет свою жизнь на что-то неведомое, хотя желательное, – жалость и тоска сжимают сердце, бережат заснувшие воспоминания беззаботного отрочества...

«Папа мой! Ты не чувствуешь, что твоя девочка в последний раз глядит на кровлю твоего дома... Милый ты мой!.. А мама?.. Ах, мама, мама! Зачем ты оттолкнула меня от себя? Зачем поставила холодную, ледяную стену между твоим и моим сердцем?.. Дикарка я, разбойник, Емелька Пугачев, выродок женский... Ах, мама, мама! Лучше выродок, лучше Пугачев, чем раба...»

На горе, освещенная луною, вырисовывается человеческая фигура, а около нее – оседланный конь, нетерпеливо бьющий копытом о землю.

– Спасибо, Артем, – говорит девушка, подходя к человеку, держащему коня под уздцы. – Ты его хорошо накормил сегодня?

– Хорошо, барышня: и сена давал, и овса вволю.

Конь узнает свою наездницу и радостно ржет.

– Здравствуй, Алкид, – говорит девушка. – А я принесла тебе именинного пирога: я сегодня была именинница.

И она, достав из сумки кусок сладкого пирога, кормит им своего Алкида и любовно гладит его шею. Алкид – умный конь: он бережно берет куски пирога из беленькой маленькой ручки наездницы и глотает, как пилюли. Ему не привыкать-стать к сладостям и ко всяким кушаньям: когда его барышня-наездница была еще маленькой девочкой, она кормила его и сахаром, и яблоками, и пряниками, и даже вареньем. Но более всего Алкид любил соль, и барышня после каждого обеда таскала ему по целой солонице. И умный конь удивительно привязался к этой странной девочке. Он ходил за нею, как прикормленная овца. Он радостно ржал, где бы ни увидел ее. Для нее он пренебрегал всякими лошадиными обычаями: так иногда он, словно собака, взбирался на крыльцо, желая проникнуть в дом, но его, конечно,

гнали, ибо он своими копытами портил ступеньки крыльца; чаще же он просовывал голову в окно и ржал на весь дом, когда не видел своей любимицы. За это его, разумеется, били; но ему это было нипочем, и он все оставался таким же конем-вольнотумцем, для которого между конюшней и барским домом не существовало никакой разницы.

– Ну, теперь в путь, Алкидушка! – сказала девушка, быстро вскочив в седло и глядя шею коня своею маленькою ручкой. – Давай теперь пику, Артем.

Артем, старый денщик ее отца, простоватый малый, более боявшийся барского коня, чем самого барина (потому что Алкид сразу узнавал, когда Артем был хоть немного под хмельком, и в это время Алкид в грош не ставил Артема, часто выгонял из конюшни и даже драл за волосы). Артем подал своей молоденькой госпоже казацкую пику.

– Теперича вы, барышня, в акурат казак, – сказал он, ухмыляясь.

– Да, Артемушка? – радостно спросила девочка.

– Лопни глаза-утроба... Сам Анапарт испужается.

– Ну, прощай, добрый Артем... никому не говори, что видел меня здесь.

Она сунула ему что-то в руку, тронула коня и скоро скрылась из глаз своего добродушного оруженосца, который изумленно качал головой:

«Уж и Пилат-девка! Вот разбойник – сущий Пилат... а добрая...»

Несколько времени девушка скакала быстро, как бы чувствуя за собою погоню – погоню прошлого, погоню своего детства, погоню женщины-рабы, от которой она отрекалась, убегала... Чем лихорадочнее она скакала, тем мучительнее отзывалась в ней эта боязнь возврата и тем явственнее слышалось ей, будто ветер свистит в уши: «Не уйдешь от себя... не уйдешь от женщины, не ускачешь от рабства... Судьба женщины найдет тебя и в поле, и в море... Под грохот ядер, в пылу битвы – скажется в тебе женщина...»

Месяц между тем скрылся. Ночь становилась все мрачней и мрачней. Дорога пошла темным сосновым лесом, где и закаленному в бедах и опасностях мужику стало бы страшно... При едва заметном просвете так и кажется, будто от гигантских сосен протягиваются косматые руки, косматое чудовище трясет длинною бородою и грозит охватить невидимыми руками... «Злой Керемет... косматый Керемет...» – вспоминаются девочке рассказы о лесном духе.

И она гонит от себя эти воспоминания... «Я на воле... я свободна... мне принадлежит весь мир... Я сама взяла свободу, драгоценнейший дар неба, сама завоевала ее – и сохраню до могилы, до последнего издыхания... Папа мой милый, добрый, слышишь, как кричит к тебе мое сердце? Как оно голубем, ласточкой вьется у тебя под окном?.. Прощай, мой незабвенный учитель... Я ворочусь к тебе, мой папа, но не раньше, как стану лицом к лицу с гордым корсиканцем и когда буду иметь право сказать тебе: „И я билась против Бонапарта“».

2

На другой день отец и мать девушки, ночной путешественницы, собрались к утреннему чаю вместе с другими членами семьи.

– Что ж Надежды нет? Она вечно пропадает! – резко говорит смуглая, сухая женщина средних лет с серыми, тоже какими-то словно сухими глазами и сероватыми от серебра седины волосами. – Позовите ее.

– Да ее нет в комнате, – тихо отвечает отец девушки. – Она, верно, гуляет.

– Гуляет! Ты ее избаловал так, что девчонка совсем от рук отбилась. Ты ее видела, Наталья? – обратилась она к горничной, стоявшей у порога.

– Нету, матушка барыня, не видала... Когда я пришла к ним в комнату сегодня, чтоб убрать, так и постелька их не смята, – знать не ложилась совсем, – робко отвечала горничная Наталья, теребя передник.

– Что ты врешь? Я сам ее вчера на ночь благословил, – заметил отец девушки.

– Прекрасно, прекрасно – нечего сказать, хорошо себя ведет девка, – ворчала мать. – Ну, ступайте с Артемкой – ищите ее по горам да по долам.

Горничная вышла.

– Отлично воспитали вы свою дочку, – обратилась она к мужу. – Уж, поди, сбежала с кем-нибудь... пора уж – вчера шестнадцатый год пошел... Да такой батюшка чему не научит...

– Не батюшка, а матушка, скажи, – возразил отец.

– Как матушка? Разве я девку избаловала?

– Да, ты избалуешь! Поедом ешь бедного ребенка.

В это время в комнату вошла Наталья, дрожа всем телом.

– Ох, Господи! Ох, Казанская! – стонала она.

– Что с тобой? Что это такое? – с испугом спросил отец девушки.

– Капотик барышнин, и рубашечка ихняя, и штаники ихние...

– Ну, что ж? Говори – не мучь.

– Бабы принесли, у Камы, у самой воды подняли...

– Господи!

Как помешанный, он выбежал на двор, крича растерянно:

– Вестовые! Рассыльные! скорее давайте невод... сети тащите... она утонула! Надя моя! Надечка!

И он бросился через сад к Каме. Собаки, поняв, что случилось что-то необыкновенное, может быть, даже что-нибудь очень веселое, с визгом и лаем кинулись за барином, опережая его и бросаясь на все – и на воробьев, и на голубей, и лая даже на воздух, на небо.

Вестовые также поняли, в чем дело, и мигом притащили к реке сети, достали лодки.

– Закидывай ниже! Завози глубже! – кричит несчастный отец, бегая по берегу и поминутно бросаясь в реку.

Волокут сеть... вытаскивают на берег... скоро вся вытащится...

– Ох, живей, живей, батюшки!

Страшно... А если ее нет там!.. А если она там – мертвая, мертвая, холодная, бездыханная?

– Нету их там, барин, – робко говорит Артем, приближаясь к своему господину. – Не ищите.

– Что ты?

– Не там барышня – оне не утонули.

– Что? Что ты говоришь?

– Оне кататься уехали... И Лакиту взяли...

– Ты сам видел?

– Сам... я был вчера выпимши за здоровье барышни и уснул... Так они Лакиту-то сами изволили взять.

Страшный камень свалился с сердца... Она жива... она не утонула... Она поехала кататься – ах, разбойник девчонка, как напугала... Но зачем тут этот капот? Новое сомнение закрадывается в душу. Зачем платье и белье брошено у воды?

Он велит продолжать закидывать сети, а сам идет в комнаты дочери... Да, действительно, постелька не тронута, не помята. Кот Бонапарт жалобно мяучит – опять становится страшно... Она так дрожала вчера, так нежно ласкалась к отцу... Она что-нибудь задумала. На стене нет сабли: новое предположение, что она что-то задумала и, может быть, уже исполнила. На столе брошены ножницы.

Нет ли записки?

Нет, на столе ничего не видать. Разве в столе?..

«Боже мой! Это ее волосы, ее локоны! Все обрезаны!.. Надя! Надя! Девочка моя! Что с тобой? Где ты?»

И, целуя волосы дочери, он залился горькими слезами. Казалось, что он целует локоны мертвой, похороненной.

«Дитя мое! Где ты? Где ты, моя радость, мое сокровище?»

А сокровище это уже пятьдесят верст отмахало. Она нагнала казачий полк на дневке – туда-то и стремилось ее необузданное воображение. Полк шел на Дон, к домам, на побывку, и имел дневку в небольшом селении на Каме.

Встретив казаков, которые вели коней на водопой, девушка приосанилась на седле и, подъехав к донцам, приветствовала их своим детским голосом:

– Здравствуйте, атаманы-молодцы! Бог в помощь!

Странно прозвучал в утреннем воздухе этот металлический голосок, – так странно, что казаки невольно остановились и удивленно посмотрели на этого диковинного мальчика. Что это такое? С виду, по одежде – казачонок, малолеток, барчонок, и конь добрый, горской породы, черкесский конь, дорогой – казаки знают толк в своих боевых товарищах – одним словом, «душа добрый конь»... И чекмень казацкий добрый, хорошего сукна, и пика добрая, и посадка добрая, казацкая, атаманская... А собой – как есть девочка: груди высокие, перетяжка – в рюмочку, голосок – словно птичка звенит... Фу-ты пропасть! Откуда оно выскочило? Тут кони ржут – пить хотят, а тут птичка щебечет – личишко беленькое, словно сейчас из яичной скорлупы вылупилось, глазенки черненькие. Ах, чтоб тебя разорвало! Вот штучка невиданная!

Казаки отдают честь. Переглядываются: «Здравия желаем!»

А «оно» опять щебечет:

– Скажите, как мне найти вашего полковника?

– Это Миколай Михалыча?

– Да, Каменнова.

– Вон тамо-тка, где часовой стоит, – зеленые ставни.

– Спасибо, братцы.

И «оно» поехало дальше, а казаки, разинув рты, глядят ему вслед.

– А и бесенок же какой! Кубыть и большой ездит.

– А поди еще кашку с ложечки учится есть.

– Вылитая девочка.

– А посадка не наша, не казацкая.

– Да, это гусарская посадка... Иж и дьяволенок же!

Когда дьяволенок подъезжал к зеленым ставням, указанным ему казаками, из ворот вышли офицеры и остановились при виде молоденького всадника. Этот последний, ловко осадив коня, отдал честь офицерам совершенно по-военному.

– Я желаю говорить с полковником Каменновым, – молодцевато прошептал он и зарделся, как девочка.

– Я к вашим услугам, – отвечал полный брюнет с черными, ласкающими глазами.

Офицеров не менее, как и казаков, поразил голос и вся наружность приезжего. Но он так ловко соскочил с седла, бросил поводья на луку седла так умело и изящно и так дружески сказал коню: «Смирно, Алкид», который и встал как вкопанный, что все это разом расположило их в пользу таинственного гостя.

– Что вам угодно? – спросил полковник ласково.

– Я приехал просить вас, полковник, чтобы вы взяли меня в ваш полк.

– Вас! В полк!.. Да вы ребенок, – извините, пожалуйста.

– Нет, господин полковник, я уже не ребенок... я могу владеть оружием...

– Но простите, я не знаю, кто вы...

– Я дворянин, полковник... Моя фамилия – Дуров... Я хочу служить царю...

– Но для этого есть законный путь.

– Для меня он закрыт, господин полковник: отец запрещает мне служить, а я желаю.

– Но вы не из казачьего роду?

– Нет, мой отец русский дворянин, служил в гусарах.

– В таком случае вы не можете быть казаком: против вас закон.

Девушка побледнела и зашаталась. Тревоги нескольких дней, почти две ночи, проведенные без сна, последняя ночь, полная потрясающих впечатлений, пятьдесят верст на седле без роздыха, без сна, без пищи, страстность, с которой все это делалось, чтобы исковеркать всю свою жизнь как женщины, боязнь и мука за отца, грозное и неведомое будущее, наконец, просто усталость, разбитость нежного тела и нервов – все это заставило зашататься необыкновенную девушку. Офицеры заметили это и подскочили к ней. Сам полковник поддерживал ее.

– Простите... успокойтесь... вам дурно...

– Нет, благодарю... я устала... (девушка спохватилась на окончании женского рода, и слабая краска опять залила ее бледные щеки), – я не спал две ночи...

Полковник ласково держал ее за руку.

– Ручонки-то какие – совсем детские... Да, вам надо отдохнуть, а там мы потолкуем, – говорил он нежно. – Господа, пойдемте ко мне... милости прошу и вас, господин Дуров.

Девушка сделала знак Алкиду – он пошел за нею.

– Ах, какой дивный конь! – заметил полковник.

– Да, его хоть в гостиную, – засмеялся молоденький офицер. – Пожалуйста, господин Алкид, – как вас по батюшке...

Все засмеялись. Алкид чинно выступал за офицерами, словно и в самом деле собирался в гостиную.

– Ах, какой милый конь! Какая умница!.. Лузин, выводи его да задай ему овса, – распорядился полковник, обращаясь к вестовому.

– Позвольте, господин полковник, я прикажу Алкиду слушаться, а то он никого к себе не подпустит, – заметила девушка, обращаясь в сторону своего коня.

И действительно, когда Лузин подошел к нему, чтобы взять его, Алкид поднял голову и сделал угрожающий вид.

– Ишь ты, строгий какой, недотрога, – заметил вестовой. – Фу-ты, ну-ты...

Девушка подошла к нему и, погладив шею коня, поправив чуб, падающий на глаза упряму, сказала:

– Ну, Алкид, слушайся вот его – это Артем.

Конь радостно заржал. Слово «Артем» напомнило ему, вероятно, конюшню, овес и всякие сласти в лошадином вкусе. Он позволил взять себя под уздцы.

– Вот так-то лучше, – улыбнулся вестовой казак, – а то на – черт ему не брат.

Юного гостя ввели в дом, занимаемый полковником, – это был дом сельского попа, – усадили, ухаживали за ним, как за найденным, полковым найденным. Вошла матушка-попадья, заинтересованная необыкновенным шумом, да так и всплеснула руками:

– Ах, святители! Да какой же молоденький! Да и какая же мать-злодейка отпустила дитю такую!

– А вы, матушка, живей самоварчик велите подать да закусить чего-нибудь нашему птенчику, – распоряжался добряк полковник.

– Да где это вы раздобыли младенца такого? Ах, святители! И жалости в них нет! – убивалась попадья.

– Это нашему полку Бог послал радость, – смеялся полковник. – Да не морите же его, матушка! Он совсем ослаб.

– Сейчас, сейчас...

Юный воин действительно изнемог. Необыкновенная бледность щек выдавала это изнеможение, а внутренняя тревога добивала окончательно. Да и кого хватило бы на такой подвиг, на такие труды, когда на карту ставилась вся жизнь, и назади даже не было примера, на который бы можно было опереться? Кто же бы не поддался тревоге в таком положении? И на какие щеки не сойдет бледность в минуты, когда вынимается жребий жизни? А ведь это ребенок, девочка, еще не выросшая из коротенького платьица, но уже отважившаяся на небывалый, исторический подвиг... Тысячи трудностей, мелочей, но в ее положении – роковые мелочи опутывают ее как паутиной. Ее может выдать голос, походка, всякое движение, ненужный блеск глаз и стыдливость там, где у мужчин не блеснут глаза, не вспыхнет румянец стыдливости или нечаянности... И во сне она должна помнить, что она должна быть он... А эти противные женские окончания на а – была, спала, ела – так и сверлят память, путают, мешают говорить, бросают в краску и в холод.

– Вы, кажется, озябли, – я бы вам советовал выпить рюмку рому, для вас это было бы хорошо, – суетился добряк полковник.

А молоденький офицер уже тащил фляжку и рюмку – наливает.

– Нет, благодарю вас, я не пью, – уклоняется гость.

– Помилуйте! В поход да не пить, это святотатство! – горячился полковник.

Но гость все-таки отказывается.

– Мне не холодно, а скорей жарко, – щебечет детский голосок.

– Ну, так расстегните чекмень, оставайтесь в одной рубашке: мы свои люди.

Шутка сказать – расстегните чекмень! А что под чекменем-то? Рубашка?... То-то и есть, что противная рубашка выдаст тайну... заметно будет.

– Расстегнитесь...

– Нет, ничего... благодарю вас, мне и так ловко.

В это время в комнату опять явилась попадья, вся запыхавшаяся, с двумя банками варенья и блюдечками. За ней – стряпуха с самоваром. За стряпухой – девочка с подносом и шипящей на сковороде глазастой яичницей.

– Вот вам яичница – свеженькая, из самых лучших яиц, – сама за курами смотрю, сама их шупаю и до разврата с чужими петухами не допускаю... Чистые яички... Кушай, мой голубчик, на здоровье... Поди, еще и не кушал сегодня? – с ног сбившись, хлопотала попадья около юного гостя.

– Благодарю вас.

– А много за ночь проехали? – любопытствовал полковник.

– Пятьдесят верст.

– Батюшки мои! Святители! пятьдесят верст! – ужасается попадья. – Да мой поп, когда за ругой ездит, пятьдесят-то верст в пять недель не объедет... Ах, боже мой! Гурий казанский! Пятьдесят верст в одну ночь... Слыхано ли! Ах, голубчик мой, ах, дитятко сердечное!.. Ну, кушай же, кушай, а после вареньица, – сама варила – и вишневое, и земляничное, – кушай, родной... А батюшка с матушкой есть у тебя?

– Есть.

– И как же они отпустили тебя одного, – ах, Господи! Ах, Гурий казанский!

– Ну, матушка, – заметил, смеясь, полковник, – вы совсем отняли у нас нашего товарища.

– Ах, Господи – Гурий казанский! Какой он вам товарищ? Прости Господи, черти с младенцем связались... Не людоеды мы, чай... Знамо, дитю покормить надо... Вон и у меня сынок в бурсе – как голодает, бедный.

И попадья насильно усадила юного воина за стол, дала ему в руки ложку, хлеб и заставила есть яичницу.

– Кушай, матушка, кушай – не гляди на них... Они рады ребенка замучить.

Офицеры добродушно смеялись, смотря, как гость их, краснея от причитаний попадья, с видимым наслаждением ест яичницу.

– Из законнорожденных яиц яичница, – шутя заметил молодой офицер, – должно быть, очень вкусная.

– А разве, матушка, от распутной курицы яйца не вкусны? – спросил другой офицер.

– Тьфу! Вам бы все смеяться, озорники, – ворчала попадья.

Молодой воин, видимо, насытился. Усталость как рукой сняло.

– Ну, теперь и о деле можно потолковать, – сказал полковник. – Так вы твердо решились остаться при вашем намерении, господин Дуров?

– Твердо, полковник.

– Ну, делать нечего – я беру вас с собой: вы будете моим походным сыном, а потом мы пойдем на границу, в Польшу, я сдам вас на руки какому-нибудь кавалерийскому полковнику... А в казаки вас принять нельзя.

– Мне все равно, полковник. Я только хочу быть кавалеристом.

– Ну и отлично... А если ваш батюшка узнает, где вы – ведь он имеет право вытребовать вас, как несовершеннолетнего.

– О! тогда я готова пулю себе в лоб пустить...

И она опять спохватилась на этом противном женском окончании – «готова»... Она вся вспыхнула... Офицеры заметили это и переглянулись. Надо было найти в себе страшную энергию, чтобы не выдать себя, – и девушка нашлась.

– Ах, противная привычка! – сказала она, вся красная как рак. – Я говорю иногда точно девочка, а это оттого, что я с сестрой всегда шалил: я говорил женскими окончаниями, а она мужскими – ну и привыкли...

– Но отчего, скажите, батюшка ваш не хотел, чтобы вы служили в военной службе?

Девушка замялась. Она, по-видимому, не на все вопросы могла отвечать, не на все приготовилась. А этих вопросов впереди еще было так много; да и какие еще могли быть впереди!.. Она молчала.

– Вероятно, по молодости, – заметил другой офицер.

Девушка все еще не знала, что сказать; но наконец решилась.

– Мне тяжело отвечать на некоторые вопросы, – сказала она. – Ради Бога, господа, простите меня, если я не всегда буду отвечать вам... Есть такие обстоятельства в моей жизни, которых я никому не смею открыть. Но верьте – моя тайна не прикрывает преступления.

– Ну, простите, простите... мы из участия только.

В то же утро к часам двенадцати назначено было выступление. Со всего села казаки небольшими партиями съезжались к сборному пункту – к квартире полкового командира. К этому же пункту со всего села бежали бабы, девки, ребяташки, чтобы взглянуть на невиданных гостей. Казаки чувствовали это и рисовались: бодрили своих заморенных лошадей, заламывали свои кивера набекрень так, что они держались на голове каким-то чудом, а иной с гиком проносился мимо испуганной толпы, выделявая на седле такие штуки, какие и на земле невозможно бы было, казалось, выделывать.

Выехал, наконец, со двора и полковник, сопровождаемый офицерами. Выехала и юная героиня на своем Алкиде.

Казаки, завидев ее, пришли в изумление – не все знали о появлении этого нечаянного гостя.

– Что это, братцы, на седле там? Кубыть пряник? – шутили казаки.

– Да это попадя испекла полковнику на дорогу.

– Нет, казачонки, я знаю, что это.

– А что, брат?

– Это наш хорунжий Прохор Микитич за ночь оценился...

Хохот... Раздается команда: «Строй! Равняйся! справа заезжай!»

Казаки построились, продолжая отпускать шуточки то насчет других, то насчет себя.

– Песельники вперед! Марш!

Полк двигается. Покачиваются в воздухе тонкие линии пик, словно приросшие к казацкому телу. Да и это тело не отделишь от коня – это нечто цельное, неделимое... Песельники затягивают протяжную, заунывную походную литию:

Душа добрый конь!
Эх и-душа до-доб-рый конь!

Плачет казацкая песня – это плач и утеха казака на чужбине... Ничего у него не остается вдали от родины, кроме его друга неразлучного, меренка-товарища, и оттого к нему обращается он в своем грустном раздумье:

Ух и-душа до-о-о-доб-рый конь!..

Нет, не вынесешь этого напева... Клубком к горлу подступают рыдания.

Не вытерпела бедная девочка... Она перегнулась через седло, прижалась грудью к гриве коня, обхватила его шею. И у нее никого не осталось, кроме этого коня, кроме доброго Алкида... это подарок отца – его память... Папа! Папа мой! О, мой родной, незабвенный мой!..

– Господин Дуров! А господин Дуров! – слышится ласковый голосок офицера.

Она приходит в себя и выпрямляется на седле... Около нее тот молоденький офицер – Греков.

– Вам тяжело? – говорит он еще ласковее. – Еще есть время воротиться...

– О! никогда! Никогда!.. Я не возвращусь домой, пока не встречу лицом к лицу с Наполеоном.

– Ну, будь по-вашему.

А песня все плачет:

Ох и душа добрый конь!..

3

Вот уже несколько недель юный Дуров следует с полком и все более сживается со своею новою жизненною обстановкою. Казаки не только привыкают к нему, но даже начинают сосредоточивать на нем всю свою нежность, как на любимом детище. Да и кого любить бродяге-казаку вдали от родины, кроме коня? Да что конь? Конь само собой! – «душа добрый конь», друг и приятель, а все сердце еще ищет чего-то. Заведись в полку собачка – и она становится общею любимицею: каждый казак зовет ее спать с собою, ее носят на руках, с нею делят лучший кусок, из-за нее ссорятся. А тут завелось у них «дите», «сыночек полковой», такой тихий да скромный, «словно девица красная». Ну и лег у сердца он каждому казаку. А офицеры и подавно полюбили своего найденыша. Более всех подружился с ним молоденький Греков, черноглазый и горбоносый, с восточным профилем, юноша лет за двадцать, большой фантазер, тоже мечтавший взять в плен Наполеона. «Как только придем на Дон, тотчас же попрошусь под команду Платова³ – и тогда держись, корсиканская лиса», – часто говаривал мечтательный юноша и тем очень располагал в свою пользу такого же мечтательного «камского найденыша», как казаки называли иногда Дурова. Этот последний, как ни старался держать себя в стороне от всех, однако с Грековым менее дичился и был более неразлучен, чем с другими офицерами.

Вот и теперь, когда полк уже перешел границы земли Войска Донского и проводил последнюю дневку в слободе Даниловке, на Медведице, Греков и Дуров, пользуясь ярким и теплым октябрьским днем, бродят вместе по лесу и стреляют уток. И день, и местность выдались великолепные. Солнце не печет, а только греет и окрашивает в бесконечно разнообразные цвета сильно желтеющую и краснеющую зелень леса; словно цветами унижены деревья сверху донизу желтыми, оранжевыми, красноватыми и ярко-красными листьями – это цветы осени, румянец, зловещий, как на щеках чахоточного, румянец леса перед смертью... Тихо, так тихо кругом, что слышно, как желтый листок, отделившись от стебля, уже не питающего его своими соками, падая, задевает другие листья, еще не упавшие, но уже мертвенно-бледные, пожелтевшие. Листок за листком падают они на землю, словно бабочки, словно бы в умирающей зелени еще остаются движения жизни. Движения жизни – нет, это смерть, это разложение. От времени до времени слышится в желтой листве резкий шелест и звук падения – это выпадает из своей чашечки перезревший желудь, как и желтые листья, ищущий своей могилы. Ни птичьего говора, ни гуденья насекомых. Куда все это девалось?

Набродившись до усталости, Дуров и Греков раскинулись на зеленой полянке и молча глядят в голубую высь.

Куда все это девалось? Куда девались птицы, распевавшие от зари до зари, от утра до ночи? Куда девались тьмы других жизней и голосов, участвовавших в несмолкаемом хоре природы? А куда девались молодые грезы, золотые сны наяву? Прошли, – все прошло, замерло, как замирает этот шорох от падающего листа. Высоко-высоко в голубом небе летят птицы... Длинной, ломаной линией растянулись они – и летят. Куда? Откуда? И они уходят туда, куда все ушло – и птицы, и весь весенний говор природы, и грезы, и сны золотые наяву – уходят в невозвратное прошлое. Нет, птицы воротятся опять, воротится и весенний говор природы, но это будет не тот говор, не те птицы, – а грезы не воротятся...

«Это лебеди летят... счастливые, – думается Дуровой, – как бы я с ними полетела».

И она летит-летит... Так легко стало ее тело, так легко рассекает она воздух в стае летящих по небу лебедей... И видится ей земная поверхность на необъятные пространства

³ Платов Матвей Иванович (1751–1818) – генерал от кавалерии, атаман Донского казачьего войска. В 1812 г. возглавлял отдельный казачий корпус.

– от одного края Европы до другого, от северных морей до южных, словно на обширной ландкарте. Голубыми лентами извиваются реки, в виде голубых зеркал раскинуты там и там озера, окаймляемые то кудрявою, желтеющею зеленью лесов, то зубчатыми или всхолмленными ожерельями гор, то желтыми лоскутами песков. Темными пятнами разбросаны по этому необозримому, неровному и неровно-цветному полотну тысячи городов, сел, отдаленных, едва заметных утесов.

«Это папа ходит по саду, думает о чем-то, может быть, обо мне... какой грустный... Папа, папа мой!» Но голос не долетает до него. Голова папы все наклонена к земле, – не поднимается к небу, чтоб взглянуть на летящих лебедей. Это Кама виднеется – словно змея, брошенная между зеленью и неподвижно застывшая.

«А это что за голоса доносятся от земли – такие горестные, точно вопли?»

– Это плачут люди, – отвечает один лебедь, тот, который был вождем всей стаи.

– Какие люди и о чем плачут?

– Это плачут матери и жены, дети и сестры, отцы и братья тех, которых Наполеон положил в безвременную могилу под Аустерлицом... Много тысяч погибло там.

– О, бедные, бедные! Как много несчастных на земле...

– Их больше, чем люди видят и знают, больше даже, чем могут предполагать они.

– А ты почему знаешь это?

– Я все знаю – я Сатурн: я летал в пространстве, когда еще земли не было и ничего не было, кроме меня и пространства, моего брата, да нашей матери – бесконечности, которая не рождала нас никогда, потому что и мы, оба брата, и мать наша существовали всегда.

– Господи, как страшно... Когда же это будет, и будет ли, что люди меньше станут плакать?

– Будет... Но не скоро, – так не скоро, что для твоего ума это будет непостижимо.

Едкою, режущую болью отзываются эти слова в сердце девушки. А этот бесконечный плач и стон! И все это несется от земли к небу, и небо не разорвется, как гнилое полотно, от этих стонов и воплей. Небо... пустое, холодное, бесконечное пространство, такое же вечное, как и эта крылатая птица, этот вожатый лебедь-сатурн, время...

– А это же еще что за стоны и плач на земле – на всей земле?

– А это люди... видишь, сколько их наплодилось с того времени, как образовался этот атом вселенной – земля, наплодилось до тысячи миллионов этих двуногих паразитов земли, и вот они мрут, а то бы им негде было жить на этой ореховой скорлупе, что зовут землей... А всякий паразит, умирая и страдая, кричит, и этот крик земных паразитов доносится до тебя... Их так много, этих паразитов, что в каждый момент умирает из них один или два и больше... Нет во времени ни одного момента, чтоб не умирал какой-либо паразит, а вместо него не нарождался бы другой – и тоже с криком, с плачем... И я все это слушаю тысячи, миллионы, миллиарды лет, и опротивела мне вселенная с ее паразитами, с их глупыми страданиями, с их еще более глупыми радостями и гордым сознанием, что они – высшие существа, высшие паразиты между низшими, инфузорными паразитами... Вон на Корсике одна баба-корсиканка выкинула маленького паразита, не доносила во чреве, потому что и во чреве ее он был слишком беспокоен, – и вот этот паразитик вырос и, благодаря людской глупости, стал сначала ездить на людях, а потом, видя их конечную глупость, стал бить их, а они за это вознесли его до небес, сделали его своим идолом и теперь приносят ему человеческие гекатомбы при Ульме, при Аустерлице, при Йене, Ауэрштедте... Глупые, подлые, ничтожно падшие паразиты...

– Не говори этого – это неправда.

– Правда, вечная правда! Если бы они были ее подлое ничтожество, они не позволили бы подлости торжествовать над ними, они не страдали бы так, как теперь страдают, – они

создали бы на земле рай, а они сделали из земли хуже ада и сами же плачутся... Придет время – и ты будешь плакаться...

– На кого?

– На себя.

– Как на себя?

– Так, на себя. Никто не должен плакаться на другого – каждый сам себе создает и рай и ад... Ты теперь что задумала? Зачем надела на себя эту ливрею смерти?

– Как ливрею смерти?

– Мундир-саван... Ведь эта ливрея для того надевается, чтоб другого уложить в саван или самому саваном прикрыться... Разве ножом счастье приобретается?..

– Я ножом хочу завоевать себе свободу, которой лишена всякая женщина.

– Ножом завоевать свободу!.. О, жалкие паразиты! Что ножом завоевывается, то ножом и отвоевывается. Пока люди будут считать убийство подвигом, до тех пор они будут оставаться рабами и будут вечно страдать и плакать, как вон плачут теперь... Будешь и ты плакать и, умирая, пожалеешь о своем молодом увлеченье.

– Ты – дух зла, сгинь от меня!

– Нет, я дух добра, потому что я знание: во мне спасенье человека и всего мира... Я, время, дам жалкому паразиту-человеку знание, но только не скоро он догадается взять его знамя в руки вместо ножа...

И летят они все дальше и дальше, неслышно рассекая воздух, опережая белые, тонко-прозрачные тучки. И земные предметы кажутся с высоты такими ничтожными, мелкими, жалкими, как ничтожна и жалка вся земля в страшной, непостижимой цепи мироздания. Да, действительно, все это жалкие паразиты и притом безумные. Вон на обширной равнине копошатся они, двигаются рядами, останавливаются, что-то выкрикивают своими жалкими голосами... Это войска какие-то: виднеется вооружение, блестят стволы ружей, шишаки, кирасы, гладко отполированные пушки. Да, это – войска, это – ничтожные мошки, собравшиеся уничтожить друг друга, словно бы им надоела их жалкая жизнь, словно бы этой жизни отпущено им на сотни, тысячи лет. Шум особенно усиливается, когда к этим рядам мошек приближается какая-то серенькая, самая маленькая мошка в треугольной шляпе, верхом на коне.

– Что это такое там?

– Это бешеные мошки, – они совсем обезумели и хотят сами умереть или закусать всякого, кто попадется.

– Зачем?

– А затем, что, по глупости своей, они не могут видеть этой серенькой мошки, чтобы не прийти в бешенство от восторга, и тогда идут на смерть, как на пир, забывая себя, своих жен, детей.

– Кто ж эта серенькая мошка? Кто он?

– Да тот, о котором ты постоянно думаешь, который и тебя сделал безумною... Это тот маленький человечек, которого назло глупому человечеству не доносила какая-то корсиканская баба и выкинула.

– Так это Наполеон?

– Да. Он тебя свел с ума. Ты была умненькая девочка, пока не начиталась и не наслышалась об нем от отца. А теперь и ты обезумела – хочешь быть героиней, убивать бешеных мошек...

– Неправда! Неправда! я ищу свободы...

И кажется ей, что это говорит не лебедь, называющий себя «Сатурном», «временем» и «знанием», а тот странный умный старичок, которого она видывала в Малороссии и которого называли «философом».

«Неужели это он говорит? Разве он умер и я умерла? Нет, мы сейчас охотились с Грековым и говорили о Наполеоне, о войне... Мы идем на Дон...

Зачем же я лечу? Разве я птица? Или это сон?.. Нет, это не сон, – я сознаю, что я лечу над землей – выше лесов, выше гор, выше облаков... Да и что такое летать? Мысль моя всегда парила над землей – она такая же крылатая, как Сатурн... Но только она не всеведущая... Это и старичок философ говорил... Я не забуду его слов, его песен...»

Добре було нашим батькам на Україні жити,
А тепера досталося панщину робити.
Наступила чорна хмара, наступила й сива —
Не одбуде син за батька, а батька за сина...

«Да, хорошо на Украине – и мне было там хорошо... А что он, которого я любила... Любила?.. А разве я и теперь не люблю его? Разве не для него я покинула свой дом, надела этот саван?.. Для свободы покинула? Для него покинула, чтоб свободною найти его... А он, Сатурн, говорит, что я от Наполеона обезумела... И Сатурн не все знает...»

«Но где же земля? Надо мною только небо, а подо мною – вода, вода, вода без границ, без очертаний...»

– Где мы? Где земля?

– Земля под нами.

– А это что за вода?

– Это океан – это вода... Если этой водой всплеснуть вверх да по бокам, так весь род людской с его городами, храмами, дворцами и хижинами так же смоемся с лица земли, как смывается водою пыль с запыленного лица.

И на поверхности этой безбрежной воды носится что-то маленькое, жалкое, едва видимое... Боже мой! Это лодочка – это ничтожная щепка в океане... Как бросает ее с одного гребня валов на другой – так и залиывает водяными языками... На этой щепке кто-то сидит – несчастный!..

– Кто это в лодке, бедный?

– Это ты, безумная. Это ты пустилась в океан жизни на щепке...

Валы между тем становятся все сердитее и сердитее. Это какие-то страшные звери, чудовища с длинными белыми гривами. Они попеременно набрасываются на утлую лодочку – поднимут ее на гриву, потом сбросят в мутно-зеленую бездну, снова подхватывают на гребень и снова сбрасывают...

Не устоять против них бедной ладье – их миллионы, и каждый стремится догнать бедную щепку, вскинуть на белую вершину свою и опять столкнуть вниз...

Но вот и щепки не видно – пропала бедная щепка!

«Утонула безумная!» – слышится голос в ропоте морских волн.

Нет, безумная не утонула еще – она летит над океаном вместе со стаей лебедей. Все ниже и ниже к воде спускаются птицы... «Безумная» чувствует уже на своем лице холод – это брызги волн долетают до нее... Все ниже и ниже – ноги касаются воды... Ох, страшно!.. Она погружается в океан... Лебеди плывут по волнам, плывут дальше, дальше, а она – тонет...

Она начинает кричать, но голос ее замирает в диком шуме волн.

– Папа! Папа! Спаси меня...

Этот странный крик разбудил Грекова, который, лежа на траве и глядя на голубое небо, вздремнул. Приподнявшись на локте, он видит, что это стонет Дуров.

– Дуров! Что с вами? – окликает он товарища.

– Спаси! Спаси, папа! Я упала в море...

– Да вы бредите, что ли, Дуров?

Нет ответа. Слышится только невнятный стон. Греков встает и тихонько подходит к товарищу. Тот лежит на спине, голова закинута назад. Шевелятся только губы у сонного да грудь высоко подымается... Что за чудо! Греков себе не верит... Ему и прежде казалось, что у этого стройненького, перетянутого в рюмочку, женоподобного Дурова, при всей его тонине и жидковатости, грудь казалась очень высокою, соколиною; но теперь он положительно видел, что под чекменем вздымаются и опускаются женские груди. Форма груди совсем женская, и овал у талии, закругления к бедрам – совсем не мужские. Нет, это не Геркулес, а скорее Омфала, Венера...

Греков нагибается и тихонько дотрагивается до груди спящей и тотчас же отдергивает назад руку в величайшем смущении... «Это женщина...» Необъяснимое, смешанное чувство овладело молодым человеком – и чувство стыда, и чувство нежности, и глубокая радость... «Бедная!..»

– Дуров! А Дуров!

Он трогает спящую за плечо. Та с испугом открывает глаза и сначала никак не может прийти в себя.

– Что это? Что случилось?

– Ничего... Но вы очень стонали во сне, – я испугался за вас и разбудил, – говорил Греков, чувствуя, что он краснеет, и не смея взглянуть в глаза товарищу-девушке.

Покраснела и она; но тотчас же быстро вскочила на ноги и оправилась.

– Мне страшный сон привиделся – я тонула... – И она покраснела еще больше... Проклятая привычка!

– Да, вы очень стонали... Вы уснули слишком навзничь – это вредно... прилив крови...

– Ах, какой сон!.. Сначала мне казалось – я летаю, что я лебедь... Тут и Сатурн какой-то в виде лебедя, и вся земля под ногами, и Наполеон...

– Да это оттого, что мы все об нем говорили.

– А потом страшный океан, лодочка на нем, потом я падаю, тону... Какой тяжелый сон!.. Вероятно, я очень стонал?

– Да, очень.

– Как это глупо... Во сне человек – точно ребенок, – ничего не соображает и часто болтает вздор...

– Да. Но иногда и проговаривается – тайну выдает.

Дурова подозрительно, исподлобья взглянула на своего собеседника. Тот заметил это и постарался поправиться, все более и более убеждаясь, что перед ним женщина.

– Часто во сне произносят имя любимой особы, – сказал он.

– Так, может, и я во сне называл имя какой-нибудь барышни – да? – принужденно, видимо, насильственно смеялась Дурова.

– Нет, не барышни, а мужчины, – отвечал Греков, улыбаясь.

Дурова еще сильнее смешалась.

– А! вот как! Вероятно, имя школьного товарища, а может быть, конюха Артема? – отшучивалась она.

– Нет, вы говорили, кажется, «папа», «папа».

– Очень может быть!.. Однако нам пора в слободу – я проголодался как волк.

– И я тоже... хоть я и не тонул, как вы, а все-таки доходился до собачьего аппетита.

Они взяли свои ружья, сумки с настрелянной дичью и направились к слободе, раскинувшейся на полугоре, над большим озером, с одной стороны окаймленным густым лесом. Дорога шла ровным как скатерть лугом. Дойдя до конца луга, охотники невольно остановились. На широкой, гладко укатанной дороге, растянувшись во всю длину, грелась на солнышке серая, аршина в полтора длиною змея.

– А! Мудрец спит на дороге, – заметила Дурова.

– Какой мудрец?

– Да вот – серый, длинный... Будьте мудры яко змеи, а он, дурак, на самой дороге уснул.

– Правда... А ну-ка я попотчую мудреца.

И Греков, приложившись к ружью, собирался выстрелить в неосторожного гада. Но Дурова остановила его.

– Нет, не трогайте, – я его в плен живым возьму.

– Как? Ведь он укусит.

– Не укусит – он глуп, как Ева... только такую дуру, как наша прабабушка, он и мог соблазнить.

Греков как-то странно засмеялся, а Дурова, вынув из своего ружья шомпол, тихо приблизилась к змее. Последняя, слышав шаги, быстро поползла с дороги, торопясь укрыться в траве, но Дурова предупредила ее, забежав вперед. Змея, свившись спиралью, подняла свою тонкую, черную, красиво блестящую на солнце голову. Маленькие глазки ее заискрились, копьевидный раздвоенный язык-жало, словно черная стальная булавка, быстро высывался и прятался.

– А! трусишь?

– Она злится... она бросится...

– Нет, трусит... А, мудрец! А бабушку зачем соблазнил? Мы б и теперь в раю жили, если б не ты, да и Наполеона бы не было...

– Антихриста-то? Апалиона?

Когда змея, видя опасность, юркнула было в сторону от Дуровой, эта последняя, быстро нагнувшись, ловко прижала головку гада шомполом к земле, а другою рукою схватила его у самой головки и подняла на воздух. Змей, ущемленный пальцами девушки у самой головы, не мог укунить своей победительницы и отчаянно извивался всем своим длинным серым телом: то он обвивался несколькими браслетами вокруг кисти девушки, то разматывался, как кнут, во всю длину и извивался в воздухе.

Грекова так поразила эта смелость девушки, что он, хотя за несколько минут до этого сильно было заподозрил ее пол и даже совсем убеждался, что перед ним женщина, теперь снова колебался в своей уверенности: ни на что подобное никогда не решится женщина... А эта... что это? Она поднесла змею к своей шее, и та ожерельем обвилась вокруг воротника девушки. Это уж черт знает что такое!

– Ох, матинко! Ох, лышечко! У казака на шее гадюка! Жива гадюка! – закричали девчата, шедшие навстречу охотникам, и бросились врассыпную.

Дурова, освободив шею от живого, холодного ожерелья, быстро швырнула извивающегося гада наземь и прижала его ногой.

– Вот так мы и Наполеона раздавим, как я давлю этого библейского мудреца! – торжественно сказала странная девушка.

Греков онемел от изумления. «Это бес какой-то, – смущенно думалось ему. – Вот дьявол!»

4

Человечество живет порывами.

Хотя природа, как и история, не делают, говорят, скачков, а если последняя и допускает иногда, по-видимому, отступления от этого общего закона природы, в виде насильственных и массовых переворотов, как бы выступая из берегов, то снова потом входит в старое, естественное русло, по которому и течет медленно фарватером поступательного движения вперед; однако само человечество, творец этой истории, живет порывами. Иначе оно и жить не может: без порывов и массовых увлечений оно оставалось бы стоячим болотом, в котором и поросли не растут, и рака не заводится, и живая рыба не плеснет мертвою водою.

Исторические скачки – это такие явления, для совершения коих еще не пришло время, не подготовлены умы, не выросли люди. Но и скачки эти – это историческая «проба пера и чернила»: не дозрели люди, так поймут, что надо дозревать; не доросли старые умы – так дорастут молодые, благо старыми умами им солнце указано, свет зажжен – к свету-то и потянутся молодые поросли. Но уже самые скачки показывают, что явление созревает.

А порывы человечества – это его естественное творческое напряжение, без которого немислима жизнь, немислимо развитие. Только напряженное состояние факторов творчества – всякого творчества, и физического, и духовного, только потенциальность не только материи, но и духа – плодотворны: потенциальность и напряжение мускулов в физическом труде, потенциальность и напряжение мысли и фантазии в художественном творчестве, потенциальность и напряжение материи в процессе органической жизни – вот чем создается мир и все в нем видимое и действующее. Потенциальность и напряжение гоняют светила небесные, эти неисчислимые миры, всю вселенную, по указанным им этою самою потенциею путям, словно лошадей на корде. Сравнение кавалерийское – правда; но что ж делать, когда без напряжения и лошадь разучилась бы ходить?

Вся история человечества представляет ряд более или минее напряженных порывов.

– Все это, мой друг, казацкие наезды – история-то ваша... Мир только нами, казаками, и держится...

– Едва ли, генерал... Вон посмотрите теперь на этого Наполеона...

– Да ты что мне все в глаза суешься со своим Наполеоном, словно оса!.. Я еще не чихнул, а ты уже здравствуешь...

– Да вот вы, генерал, все своих казаков возносите – они-де всему свету голова. А вон Наполеон не казак, а какую вселенскую кашу заварил...

– Не казак!.. Нет, братец, Наполеон-то и есть казак, только воровской. А ты послушай прежде, а там и спорь... Молод еще!

– Слушаю-с.

– То-то... Я говорю казак – не все казак, что с красным лампасом... Вот ты и не казачьего рода – немец какой-то, а все-таки казак.

– Что ж такое, по-вашему, казак?

– А вот что, брат: я тебе примером, притчей этак, из нашей же истории объясню... Читал ты о Прометее? Прометей был первый казак на земле.

– Это потому, что он небесный огонь скрал?

– А хоть бы и потому! Говорят, что казак – вор. Ну и Прометей вор. Да дело-то, братец ты мой, не в том, дело не в словах, а в сути. Вот видишь ли: греческие боги, вот как и мы, грешные, обленились, заспались, заразвратничались; Юпитер-то себе подагру да почечуй нажил, ну – и раскис совсем старик, а бабы его там разные, Юнонки да Венерки, за нос водят, – совсем старик забыл о земле, о людях. Ну а коли боги обабились, так за ними люди и подавно: только и знают, что Афродите молятся, да Фаллоса чествуют – одним словом, кабак

на земле. Вот и проявись донской казак Прометейка. Ходит это он по Олимпу с трубочкой, посвистывает. Ночь. Все боги храпят вокруг костра. А костер-то горит небесным огнем – да и потухать начинает. Вот Прометейка подойди к костру да тихим манером и сгреб в свою носогрейку уголек небесного огонька да на своего меренка, да и марш на Дон, то бишь на Кавказ... С тех пор этот огонек и ходит по земле: у кого в душе есть этот огонек, тот не спит, – тот – казак, тот дело делает и мир завоевывает... Так ли я говорю? А?

– Да, пожалуй, что это правда, генерал.

– Еще бы не правда! Казак и всю-то вашу историю построил... Вот хоть бы другой казак – Магометка. Этот вон со своими халифами полмира скрал...

– И солоно от него пришлось, генерал.

– Солоно – что говорить! Да и куда ни глянешь – все казаки миром заправляют... А там Америку кто открыл? – Казак Колумб! Это верно! Ну, после него и поднялись все в поход – открывать новые земли да завоевывать их: эти КORTEЦЫ да Пизары, эти Васьки Гамовы – все по-нашему, по-казацки! Как взбудоражатся люди, как гикнут «марш-марш!» – только тогда и сделают что-нибудь... Так и Наполеон: «Идите, – говорит, – французы, завоюем свет...» И пошли разбойники...

– Только, кажется, они наткнутся на коренных казаков.

– Наткнутся – это верно, только не при таких командирах, как у нас эта баба Беннигсен.

– Но ведь он болен, генерал.

– И я болен, брат, и мне проклятый почечуй покою не дает, с седла гонит, а я все-таки не поддаюсь.

Разговор этот ведут между собой два офицера – один лет за пятьдесят, другой, который называет старшего генералом, еще молодой человек. Лицо старшего представляет смесь доброты и какой-то детской ясности взгляда, хотя строго очерченные черты, резко проведенные линии там, где прежде всего складываются морщины, и какая-то черствость, так сказать, лицевых мускулов свидетельствуют о присутствии большого запаса воли и внутренней порывности. Это – Платов, знаменитый атаман Донского войска, казачий идол, полубог, полумиф. Казакам хорошо знакома эта детская ясность взгляда... «Хоть ты против него самого черта поставь, да сотню пушак, да целую армию выставь, и у него хуть одна лядущая сотня казаков – и все ему, батюшке, нипочем: играет это нагаечкой своей, глядит на вражью силу несметную, как дите на игрушки, и улыбается: „Ничего, – говорит, – ребята, чесанем их, поджарых, – по крайности весело, есть кого бить...“ Ну и бьет...» – так отзываются о нем казаки. Он полулежит на небольшом возвышении под деревом на разостланной бурке и по временам следит за движением, происходящим перед его глазами в раскинувшемся по косогорью реки Алле казацком бивуаке. Один ус у него несколько обожжен порохом, платье в беспорядке, – видно, что спал эту ночь не раздеваясь, а может быть, и совсем не спал.

Лицо молодого собеседника его представляет собою тип совершенно иного рода. Это – олицетворение мягкости, какой-то кошачьей и внешней гладкости: сам невеличье, кругленькое, как у кошечки, и такое же приятное, как у нее, личико, серые, светленькие, никогда, кажется, не блиставшие стыдом или раскаянием глазки, круглый, несколько вздернутый, детский носик, белокурые волосы – совсем немчик с ангельским взглядом, немчик, кушавший белые булочки со свежим маслом и оттого сам такой беленький, почтительный к папаше и мамаше, ласковый с сестрами, услужливый перед наставниками и начальством. На нем артиллерийский на меху шпенцир и меховой картуз. Говорит мягко, мелодично, вкрадчиво.

Кошечка эта – не менее знаменитый, чем Платов, партизан Фигнер. Если солдаты и не боготворят его, как казаки боготворят Платова, зато глубоко верят, что эти ясные глаза не моргнут, эта белая, мягкая, словно крупчатая рука не дрогнет – перестрелять из пистолета разом до сотни беззащитных пленных, одного после другого. Солдаты глубоко уверились, что под этой крупчатой наружностью кроется дьявольская сила характера, отвaga невидан-

ная, хладнокровие в битвах непостижимое и неслыханная жестокость – и все это с внешней мягкостью, с улыбкой на розовых губах, с невинностью во взгляде!

Славный партизан 12-го года и товарищ Фигнера, поэт Денис Васильевич Давыдов так характеризовал впоследствии своего соратника в письме к Загоскину⁴, автору бессмертного романа «Юрий Милославский»:

«Когда Фигнер входил в чувства, – а чувства его состояли единственно в честолюбии, – тогда в нем открывалось что-то сатаническое, так, как в его средствах, употребляемых им для достижения определенной им цели, ибо сие сатаническое столько же оказывалось в его подлой унизости пред людьми ему нужными, сколько в надменности его против тех, от коих он ничего не ожидал, и в варварствах его, когда, ставя рядом до 100 человек пленных, он своей рукой убивал их из пистолета одного после другого... Быв сам партизаном, я знаю, что можно находиться в обстоятельствах, не позволяющих забирать в плен; но тогда горестный сей подвиг совершается во время битвы, и не хладнокровно и после того уже опасного обстоятельства, которое миновалось, что делал Фигнер. Лицемерство его доходило до того, что, будучи безбожником во всем смысле слова, он, по занятии Москвы, другой книги не имел и не читал, кроме Библии. Что же касается до коварства его, то вот два случая: был взят в плен один французский офицер; Фигнер с ним обошелся ласково, потом вошел с ним в дружескую связь, и когда, через несколько дней, все из него выведал, тогда подошел к нему сзади, когда сей несчастный обедал с офицерами отряда, и убил его своею рукою из духового ружья своего. С другим пленным офицером он также вошел в дружескую связь и, выведав у него все, что нужно ему было, призвал в отряде его находившегося ахтырского гусарского полка поручика Шувалова и спросил его: „Знаете ли, что ваша обязанность исполнять волю начальника?“ – „Знаю“, – отвечал тот. – „Так подите сейчас и задавите веревкою сонного французского офицера или застрелите его“. Шувалов отвечал, как благородный офицер, и Фигнер нарядил на этот подвиг ахтырского гусарского полка унтер-офицера Шианова, известного храбреца, но человека тупого ума, непросвещенного и уверенного, что истребление французов каким бы то способом ни было доставляет убийце царство небесное. Он исполнил приказание.

Ко всем сим отвратительным порокам, – продолжает Давыдов, – Фигнер соединял быстрый, тонкий, проницательный и лукавый ум. Был мало сведущ в науках, даже относительных к военному делу, хотя служил в артиллерии. Но зато обладал духом непоколебимым в опасностях и, что всего важнее для военного человека, – отважностью и предприимчивостью беспредельными, средствами всегда готовыми, глазом точным, сметливостью сверхъестественною; личная храбрость его была замечательна, но не равнялась с сими качествами – могу сказать – с сими добродетелями военными: в них он был единствен! Зато безнравственность, бессовестность, плутни самые низкие, варварство самое ужасное – превышали все сии качества военного человека».

Называя Фигнера «Улиссом» хитроумным и лукавым, а третьего славного партизана Сеславина благородным «Ахиллом», который был выше Фигнера «и как воин, и как человек», Давыдов так заключает характеристику коварного «Улисса»: «Он мне говаривал во время перемирия, что намерение его, когда можно будет от успехов союзных армий пробраться через Швейцарию в Италию, – явиться туда со своим итальянским легионом, взбунтовать Италию и объявить себя вице-королем Италии на место Евгения. Я уверен, что точно эта мысль бродила в голове, так как подобная бродила в головах Фернанда Кортеса, Пизарра

⁴ Загоскин Михаил Николаевич (1789–1852) – известный русский романист. Первый роман, принесший известность автору, «Юрий Милославский», появился в свет в 1829 г. Загоскин принимал участие в Отечественной войне, был лично знаком со многими героями 1812 г. Тема Отечественной войны впоследствии получила отражение в его романе «Рославлев» (1830).

и Ермака⁵; но одним удалось, а другим воспрепятствовала смерть и, может быть, воспрепятствовали бы и другие обстоятельства – вот разница.

Все-таки я той мысли, что Фигнер вылит был в одной форме с сими знаменитыми искателями приключений: та же бесчувственность к горю ближнего, та же бессовестность, лицемерие, коварство, отважность, предприимчивость, уверенность в звезде своего счастья!»

Такова-то ласковая кошечка, сидящая рядом с Платовым под деревом. Поэтому понятно, что на слова Платова, что человечество живет порывами и что «мир управляется казаками», начиная от Моисея-атамана и Христа и кончая атаманом Наполеоном, кошечка, мечтавшая о короне, отвечала:

– Я думаю, генерал, что мир управляется казаками и партизанами.

– Во-во – верно... Ах, проклятый почечуй!.. Вот еще кто правит миром – почечуй...

В эту минуту что-то звякнуло, стукнуло – и перед Платовым очутился казак, словно он с неба сорвался: сам красный как рак, кивер на сторону, конь весь в мыле... Платов вопросительно глянул на него.

– Бакет, вашество, скрали, – отвечал тот.

– У кого?

– У его, вашество.

– Кто?

– Атаманского полка хорунжий Греков с казаками, вашество.

– Ну?

– Он недалече, вашество... Наши ребята тотчас по грибы пошли.

Платов улыбнулся.

– По грибы?

– Точно так, вашество, – из полка Каменнова охотнички.

– А бекет что?

– Сначала все молчали, а как пытаться стали через дуло – ко лбу приставили, так показали, что сам он недалече, а супротив нашего крыла – ихних три корпуса: Ланов корпус, да Сультов, да Муратов⁶...

– Знаю... Я сам скоро буду... Ступай.

Казак повернулся и усакал как бешеный... Вдали послышались выстрелы, и в то же время что-то словно упало тяжелое, так что воздух дрогнул...

– Проснулся – откашливается, – заметил Платов, прислушиваясь.

– Вероятно, думает возобновить вчерашнюю игру, – отвечал Фигнер, вставая с травы, на которой сидел около Платова.

– Да, вчера у него карты были не козырные... Однако нам пора к своим местам...

– Вы, генерал, везде на месте, – вкрадчиво сказал Фигнер.

– Ну, не совсем... Нам бы надо было гнать Наполеона, а не ему нас.

Платов свистнул, и из кустов выехал казак, держа в поводу лошадь атамана. Там же была и лошадь Фигнера. И тот, и другой вскочили на седла и поехали по тому направлению, куда усакал вестовой казак.

Битва, видимо, началась. То там, то сям учащенные ружейные выстрелы, словно хлоп-пушки, как-то глухо замирали в воздухе, между тем как более внушительные звуки, не частые и не гулкие, но какие-то тупые, точно разрывали этот воздух и колебали его. Белые клубы дыма, как огромные клочья взбитой ваты, взвивались то с правой, то с левой стороны

⁵ Фернан Кортес (1485–1547) – испанский конкистадор, завоеватель Мексики. Писарро Франциск (1470–1541) – испанский завоеватель Перу. Ермак Тимофеевич (? – 1584) – русский казак, завоеватель Сибири.

⁶ Речь идет о командующих французскими корпусами, знаменитых маршалах. Ланн Жан (1767–1809) – герцог; Суль де Дье Никола-Жан (1769–1851) – маршал Франции, позже – военный министр; Мюрат Иоахим (1771–1815) – вице-король Неаполя и Обеих Сицилии.

неглубокой речки, извивавшейся в пологих берегах; иногда дымные клочья вылетали из-за кустарников или из-за опушки леса, а им отвечали такими же дымчатыми шарами из-за зеленых, густою щетиною проросших нив. Дымные круги все более и более сближаются, выстрелы становятся учащенные, окрики орудий становятся все непрерывнее – и словно нервная дрожь пробегает в дымном воздухе – все дрожит и стонет. Птицы, нечаянно попавшие в это дымное пространство, испуганно мечутся и быстро отлетают в сторону...

Из-за дыма показываютсядвигающиеся колонны – и странный вид представляют они издали: это какие-то громадные чудовища, которые то взвиваются, то спрямляются, блестя щетиною трехгранных штыков или изрыгая клубы дыма с каким-то словно бы захлебывающимся лопотаньем... А пушечные окрики все энергичнее и энергичнее – бум! бумм! бумм!

В дело бросается конница. Французские драгуны сшибаются с русскими уланами. Эскадроны несутся стройно, ровно, словно на параде, пока в эти ранжированные по нитке ряды не ворвется смерть... Земля стонет от конского топота...

С самым первым эскадроном конно-польского полка, в первой линии, рядом с седоусым, хмурым вахмистром несется что-то юное, стройное, бледнолицее – совсем дитя, и так бешено мчится в объятия смерти, где свистящие пули и грохочущие ядра пушек... Это она – Дурова; в глазах не то благоговейный ужас, не то благоговейный восторг...

– Да провались ты отсель, щенок! – рычит на него седоусый вахмистр, видя, что она скачет не в своем эскадроне – не по праву: она еще не заслужила права на смерть; их эскадрон еще не снялся с места, а она, по незнанию, кинулась вперед – прежде отца в петлю!

– Да сгинь ты, молокосос! – снова огрызается вахтер.

– Да что тебе, дедушка? – удивленно спрашивает девушка, захлебываясь от скачки.

– Это не твой эскадрон...

А уж смерть тут – сшиблись! Послышались крики, стоны, удары, ругательства... «Ох... о!.. Боже!.. Смерть моя!.. Смертушка, братцы!..»

Уже то там, то здесь бешеный конь несется без седока, высоко закинув голову... Иной несет на седле мертвое тело, пока оно не свалилось на землю... Нет порядка, нет ранжиру – смерть командует...

А ружейное лопотанье так и захлебывается в переливчатом огне, перебегая с места на место, словно это что-то живое лопочет несвязно, нервно... А горластые пушки так и задыхаются, кажется, торопясь изрыгнуть больше и больше огней и смертей...

Отбившись от общей свалки, окруженный французскими драгунами, какой-то русский офицер отчаянно защищается. Но он один, а над ним сверкают до пяти-шести сабельных клинков... Он уже шатается на седле, готов упасть, сабельные удары скользят по нем, по его седлу, по лошади... Погибает, бедный!..

Это видит Дурова – и не выносит такого мучительного зрелища. Как безумная, с пикой наперевес, она несется на помощь погибающему, гикая по-казацки своим детским голосом, – и странно, непостижимо! Старые драгуны Наполеона робеют этого детского гиканья и разлетаются в стороны.

– Кто вы? – спрашивает девушка, подскакивая к офицеру, который уже лежал на земле раненый.

– Панин, – отвечает тот.

А раненый конь его, освободившись от седока, бешено скачет за убегающими драгунами, в ряды неприятеля, словно хочет отмстить им за своего хозяина.

Девушка нагибается к офицеру и поддерживает его.

– Вы в состоянии сесть на лошадь? – спрашивает она, и у самой голос дрожит от волнения и счастья.

– Да мой конь убежал, – отвечает тот.

– Садитесь на моего.

– А вы сами?

– Я здоров, а вы ранены.

Раненый, взглянув в лицо своему спасителю, невольно восклицает:

– Да вы – ребенок! Как вы попали в этот ад?

Девушка, ничего не отвечая, помогает ему сесть на седло.

– По крайней мере скажите: кто вы? Я хочу знать имя своего спасителя, – настаивает раненый.

– Я – Дуров, конно-польского уланского полка... Спешите в обоз перевязать вашу рану... Алкид! Будь умен, вези хорошенько, – обратилась она к коню и потрепала его шею. – До свиданья, господин Панин.

Панину казалось, что все это сон. Сном казалась и необыкновенной девушке первая битва, в которой она участвовала и – спасла человека. Она сама не понимала величия своего подвига – она только радовалась, что сделала доброе дело.

– А он еще щенком меня назвал, этот сердитый вахмистр... Но, боже мой! Наши, кажется, отступают... Я ничего не понимаю... Я только благоговею перед величием боя... О, мой папа! Мой папа!

5

Да, это было отступление – и не первое... Русские уже не в первый раз отступают, привыкли – Наполеон научил их отступать. О! Это хороший учитель, – он научил отступать всю Европу, весь мир – и русские отступают.

Отступали после Ульма, отступали после Аустерлица, отступали после Прейсиш-Эйлау. Отступал Кутузов, отступал Багратион, отступали Каменский, Барклай-де-Толли, Буксгевден. Отступают и теперь Беннигсен, Платов, Фигнер.

И она, жалкая снежинка этой великой русской армии, тающей от взгляда корсиканца, – и она несется в общем вихре отступления. Стыдом пылают ее бледные щеки, глаза не глядели бы на это бегство – первое в ее жизни. А как они бегут – эти маститые, закаленные в боях! И им не стыдно!

«Что скажет папа, когда узнает о нашем отступлении? Бедный! А он так любил слушать, когда я декламировала ему оду Поспеловой на разбитие маршала Массены Суворовым:

Как буря облака – грядую
Он гонит галлов пред собою...

А теперь галлы гонят нас, потому что у нас нет больше Суворова. Как изменилось все со вчерашнего дня: какое хмурое небо, какая угрюмая зелень леса! А вчера такое голубое было небо, и еще голубее казалось оно из-за порохового дыма... А теперь мне видится и на зелени кровь, и в шуме леса мне слышатся стоны раненых, – не тех, что там стонали, в битве, стонали и умирали под копытами лошадей, а тех, что я видела в обозе, на перевязочном пункте... Это они стонут... Какое лицо у казака, что умирал от страшных ран и все стонал: „Не снимайте с меня гайтана – там земля родная, с Дону... Палага на прощанье на гайтан навязала и на шею привесила...“ Какой ужасный бред!.. Бедная Палага – не жди вестей от своего друга... А Панин – как он жал мне руку, как благодарил: не на гайтане, говорит, „а в глубине сердца буду носить ваш образ и умру с ним“... Зато и Алкид же был рад, когда увидал меня в обозе, как собака терся своей головой о мое плечо.

Ты что жалобно чирикаешь, бедненькая птичка? Боишься за свое гнездышко?.. Да, наши кони растопчут его, как топтали вчера людей... Странно! Вчера на перевязочном пункте, содрогаясь от стога раненых, я еще более содрогалась оттого, что слышала, как где-то неподалеку в кустах заливался глупый соловей, словно бы это был наш сад на Каме, где я играла с собаками, а не смертный пункт...»

Впереди какое-то препятствие – и ряды конницы,двигающейся большею частью гуськом, останавливаются. Это плотина на дороге, гать, да такая узкая, что может пропустить только по три всадника в ряд. Передние отряды переправляются, а задние выжидают. Солдаты перекидываются замечаниями.

– Да ты прежде накорми солдата, да тады и ведем в дело.

– Знамо, голодному какая война?

– Это точно, какая храбрость у голодного?

– На голодное брюхо и пуля идет, а от сытого брюха отскакивает.

Смеются. Настоящие дети!

– А все провиантские... пусто б им было!

– Знамо, провиантские... Не француз нас бьет, а свой брат чиновник.

В стороне от дороги спешили гусары и кучкой уселись около чего-то, рассматривают что-то с большим вниманием. Дурова подъезжает к ним. В середине кружка сидит старый

гусар и держит на коленях что-то такое, к чему и приковано внимание всего кружка. Это что-то – черненькая собачонка. Бок у нее перевязан окровавленной тряпкой. Суровые, загорелые лица гусар с нежной любовью и жалостью смотрят на раненое животное.

– Что это, братцы? – спрашивает девушка, тоже спешиваясь.

– Да вот Жучка наша эскадронная отходит.

– Ах, бедненькая! – ранена разве?

– Да, ранил вчера проклятый француз... Семь раз с нами в атаку ходила – целехонька была... Уж мы ее и отгоняли, так нет – вон дядю Пилипенка она на шаг от себя не отпускала, любит ево шибко, – ну, и зашибли ее, – говорил словоохотливый гусарик.

А дядя Пилипенко глаз не спускает со своего дорогого, раненого друга. Руки, загрубелые в битве, никогда не дрожавшие, когда тяжелым палашом мозжили и турецкие, и французские головы, или когда в Италии сплетали этим палашом кровавые лавры Суворову – эти руки теперь дрожат, бережно поддерживая умирающую Жучку. И углы губ дрожат у старого гусара, под седыми бровями блестят слезы на опущенных ресницах.

– А давно она в вашем полку? – спрашивает девушка, у которой при виде слез старого гусара тоже готовы брызнуть слезы.

– Давно уж – самого как есть с походу. Она нам всем как родная была... Дядя Пилипенко за пазухой ее у себя маленькую вынылчил... Уж и любила ж она его!.. Да и мы любили ее – так эскадронной крестницей и звали... Да и отплатила она нам – под Пултуском наш полк спасла.

– Кто? Она?

– Да, Жучка эта самая.

– Каким образом?

– Ночью раз французы совсем было в мешок нас убрали, так Жучка увидела их и сделала тревогу; ну, и спаслись да еще и их погладили маленько... Коли бы не грех, мы бы выпросили ей егорьевский крест – она заслужила его... Когда на дядю Пилипенка надели тады этого Ягорья, так он так и сказал: «Не я, – говорит, – это заслужил, а Жучка».

– А! здравствуйте, Дуров! – раздался вдруг голос за спиной девушки.

Она невольно вздрогнула. Она грустно думала о старом гусаре, который, может быть, в этой Жучке терял единственное дорогое существо – привязанность, которая одна осталась ему в его небогатой теплыми воспоминаниями жизни.

Оглянувшись, Дурова увидела перед собою Грекова и тотчас же почему-то вспомнила, как они с ним когда-то охотились, когда входили с их полком в Землю Донского войска, как она видела тогда странный и тяжелый сон, как убила змею... Наполеона – и что-то вроде краски показалось на ее загорелых щеках, на которых и следа не осталось прежней девической белизны и нежности.

– Что вы тут делаете?

– Да вот бедная собачка умирает от ран – смотрю.

– Эскадронная Жучка, ваше благородие, – пояснил словоохотливый гусар. – Вчера семь раз с нами в атаку ходила, ваше благородие, – хорошая собака.

– Зачем же вы ее пускали?

– Никого не слушалась, ваше благородие... Да она и под Устерлицем в деле была, и под Пултуском, да Бог спас. А теперь – на вот.

Послышалась команда, и спешившиеся гусары должны были садиться на коней. Старый Пилипенко бережно передал собаку на руки другого гусара и, вскочив на седло, снова взял ее к себе. Взвод их двинулся к гати. Девушка стояла задумчивая такая, грустная, провожая глазами отъезжавших гусар, увозивших с собою Жучку... Бедные большие дети!

– Ну что, как ваши дела? – спросил Греков, всматриваясь в своего бывшего спутника, на лице которого, казалось, написано было что-то такое, чего не было прежде, но что такое – этого молодой казак прочесть не мог.

Она молчала, тихо глядя шею своему коню.

– Были вчера на деле? – снова спросил Греков.

– Был.

– Ну и что ж?

– Ничего... занятно... а вот сегодня об Жучке плачу...

И могилу в поле ратном
Не лопатой – палашами
Жучке вырыли герои...

Напишу такую оду «на смерть Жучки» и пошлю к Державину либо к Карамзину в «Вестник Европы»⁷...

Девушка говорила это как-то нервно, не то с грустью, не то с досадой.

– Дуров, да что с вами? – пристал Греков. – Вчера, говорят, очертя голову лез на верную смерть, вытаскивал других из пекла, а сегодня – то ли он смеется, то ли в самом деле плачет над Жучкой.

– Конечно, плачу над Жучкой.

Греков засмеялся.

– Чудак же вы, я вижу.

– Не чудак я, а я серьезно говорю, что Жучка – герой! Она достойнее наших нынешних полководцев... Жучка целый полк спасла под Пултуском... Никогда еще этого не было, чтоб русских били, а теперь бьют как собак!

И девушка, вынув из кармана тетрадку и показывая ее своему собеседнику, спросила:

– Вы читали это?

– Что такое?

– «Мысли вслух на Красном крыльце» – из Москвы прислали... Ростопчин сочинил.

– Нет, не читал. А что?

– Да все врет – досадно даже!.. Говорит, будто бы мы бьем Бонапарта в ус и в рыло... Вот что он пишет о Наполеоне: «Италию разграбил, двух королей на острова отправил, цесарцев обдул, прусаков донага раздел и разул, а все мало! Весь мир захотел покорить: что за Александр Македонский!»

– А! то-то же... а не вы ли сами то же говорили? – Помните змею, что вы растоптали?

– Помню... Да это что! Я и не говорю, что теперь мы бьем Бонапарта или прежде били, а он вон что плетет о нем: «Мужичишка в рекруты не годится: ни кожи, ни рожи, ни виденья; раз ударишь, так и след простынет и дух вон, а он таки лезет вперед на русских. Ну, милости просим!.. Лишь перешел за Вислу, и стали бубнового короля катать: над Пултуском по щеке – стал покашливать; под Эйлау по другой – и свету Божью невзвидел...» А вон мне солдаты говорили, что там нас бубновый король катал...

– Ну, не совсем.

– Как не совсем! Ведь мы же отступили, как и сегодня отступаем.

– Экой вы какой горячий... Недаром о вас все говорят...

– Что говорят?

⁷ «Вестник Европы» – родоначальник русской журнальной прессы. Издавался в Москве с 1802 по 1830 г. Основатель журнала Н. М. Карамзин. В «Вестнике Европы» публиковались лучшие материалы из английских, французских и немецких журналов, литература и политика составляли его главную часть.

- Да что вы вчера целый отряд французских драгун обратили в бегство...
- Вздор какой! – (Но девушка не могла скрыть чего-то, не то краски, не то бледности, набегавших на ее щеки, – и стыд, и радость вместе.) – Их было всего три или четыре человека...
- Полно скромничать... А кто свою лошадь отдал офицеру в самом пылу сшибки?
- Да ведь он ранен был, а я здоров.
- Ну, вестимо! Зато теперь везде слышно: «Проявился, – говорят, – какой-то отчаянный мальчишка, не то девчонка, да так и лезет на смерть, очертя голову...»
- Это не обо мне, это о Жучке говорят... Непременно сочиню оду Жучке...

В поле ратном, в поле чести
Жучке вырыли могилу,
А копали палашами,
Оросили всю слезами,
И как Жучку погребали —
«Мысли вслух» над ней читали.

- Однако, Дуров, вы не только злой рубака, но и злой стихотворец.
- Поневоле будешь злым, когда все злит, на что ни взглянешь... Мне теперь стыдно вспомнить, как я вместе с офицерами нашего полка, когда еще не столкнулись лицом к лицу с Бонапартом, декламировал из «Дмитрия Донского» Озерова⁸:

И чувство пылкое, творящее героя,
Покажем скоро мы среди кровава боя!

Вот и показали!.. А один офицер все носился с этим стихом:

Поди и возвести Мамаю,
Что я его как черта изломаю!

– А сегодня, когда я его спросил: – «ну что – изломали Мамаю?» – так он отвечал, что солдаты потому плохо дрались, что были голодны, что провиантские чиновники совсем заморили нашу армию.

– Это правда, – подтвердил Греков. – Вчера французы отрезали было у нас обоз с провиантом, а наши гаврилычи напали на них и отбили. Так провиантский чиновник, который заведовал этим обозом, подбегает к нашему уряднику, что обоз отбил, и падает ему в ноги – так и валяется. Урядник думает, что тот его благодарит за спасение обоза, да и говорит, что не за что-де благодарить; а тот валяется в ногах и просит, чтоб отдали обоз французам опять... «Как! – говорит урядник, – французам отдать?» – «Да там, – говорит чиновник, – вместо крупы и муки, по ошибке – каково! – по ошибке... – говорит, – приемщика оказался песок да опилки...»

– Ну и что ж? – спросила Дурова.

– Да подвернулся в это время сам атаман и как узнал, в чем дело, так сначала накормил провиантского чиновника нагайкой, а потом велел его кормить той мукой и крупой из песку и опилок, что он для солдат приготовил.

⁸ Озеров Владислав Александрович (1769–1816) – трагик, пользовался кратковременной, но весьма громкой славой в России. Особую популярность приобрел в 1807 г. во время постановки трагедии «Дмитрий Донской», отвечавшей подъему патриотических чувств в период войны с Наполеоном.

Дурова и руками всплеснула.

– Вот злодеи, а еще русские!

На сердце у нее становилось все тяжелее и мрачнее. Все те детские грезы, то грандиозные представления войны и ее поэзии не то чтобы разбились о холодную, подавляющую стену действительности, но как будто притупились сразу и упали камнем на сердце. Вместо грозного, кровавого, величественного боса перед нею вставало отвратительное чудовище – кровавое, но грязное, пресмыкающееся... Это был не тот поэтический гром орудий, не тот свист пуль, не те стоны раненых и умирающих, которые представлялись когда-то в летучих грезах, – нет, тут было что-то мертвящее, давящее, унижающее... Эти некормленные солдаты, этот мусор вместо хлеба – и бегство, постыдное бегство!

Зато тем величественнее, страшнее и непостижимее представлялся ей образ Наполеона. Она никак не могла думать, что он не великан. Только великан может бросать от себя такую гигантскую тень – тень на полвселенной... Египетские пирамиды при закате солнца не могут бросать от себя тени на полмира, а он – он бросает... «Мужичишка в рекруты не годится – ни кожи, ни рожи, ни видения...» – «Эх, Ростопчин, Ростопчин!.. Растопчет и тебя он когда-нибудь с твоею кичливою похвальбою»...

Войска двигаются в беспорядке, какими-то табунами; все части войск спутаны – кавалерия, пехота... Там идут вброд через ручьи и речки, там вязнут в болотах, путаются в лесах.

– Куда мы идем? Куда бежим? – спрашивает она с тоскою в сердце.

– Не знаю, а кажется – к Фридланду или к Кенигсбергу, – отвечает Греков наобум.

– Что ж, разве нас гонят?

– Да похоже на то, что не мы гоним.

– Боже мой! Да как не сторит со стыда вся армия, вся Россия!..

– Уж и со стыда! Подождите, и мы его накроем мокрым рядом.

Влево, у опушки леса заметно какое-то особенное движение. Несколько кавалеристов окружили развесистую иву и размахивают руками, указывая на ее вершину.

– А! верно кого-нибудь поймал, – заметил Греков.

– Кто – кого поймал?

– Фигнер кого-то.

– А! Фигнер? Это тот храбрец, что в Греции и в Италии бывал, а теперь чудеса делает?

– Да, он самый – большой проказник.

– Покажите мне его.

Они подъехали к лесу. Фигнер, окруженный несколькими драгунами, направил дуло пистолета на вершину ивы и сердито кричал: «Слезай, чертово отродье, а то как белок перестреляю!»

На ветвях ивы, в густой зелени листьев, копошились две темные фигуры.

– Прыгай, пархатый! – и Фигнер выстрелил.

На дереве что-то вскрикнуло и словно мешок свалилось на траву. За ним с дерева карабкалось что-то другое.

На траве валялся и стонал еврей, по-видимому, раненый. Рыжие пейсы болтались беспорядочно, как растрепанные пасмы льна.

– Ой-вей! Ой-вай! – стонал и бился оземь раненый.

– Говори, пархатый, откуда ты? – спрашивал Фигнер.

– Ой-вай, из Прейсиш-Эйлау, господин пан.

– А зачем ты сюда попал?

– Ах, мейн гнедиге гер! Мы же шли у Фридланду.

– Зачем?

– Гандель робиц, пане добродзею... Ой-ой!

– Зачем же ты реку перешел, когда Фридланд на той стороне Алле?

– Мы, пане, францозен боялись, там францозен мародирен.

С дерева слез другой еврей, бледный, дрожащий.

– А много там французов?

– Много, ай много, пане.

– А куда они идут?

– Не вем, пане, далибуг не вем.

– Врешь, пархатый! Ты послан шпионом... Говори ты!

И он обратился к другому еврею, слезшему с дерева:

– Говори! Шпионы вы?

Еврей отчаянно тряс головой и только бормотал:

– Не вем, пане, ниц не вем...

– Говори! Признавайся! – И нагайка повторила этот допрос на спине вопрошаемого.

Тот отчаянно вился и упорно повторял: «Не вем – ох, не вем, не вем!»

– Повесить их! Это французские лазутчики... От них мы ничего не добьемся... На сук их! – скомандовал Фигнер. – Они не стоят заряда.

Раненый приподнялся на коленях и с отчаяньем поднял руки к небу. Другой ухватился за стремя Фигнера и с плачем целовал его ногу.

– Вешай их живей! – командовал Фигнер, и серые, стоячие глаза его заискрились. – Вешай собак!

– Вережки нету, ваше благородие, а казенной жаль, – апатично отозвался рябой, курносый драгун, словно бы речь шла о том, какую веревкою перевязать пук сена.

– Ну, захлестните их за тонкие ветви ивы, все равно подохнут, – отозвался Фигнер. – Да живей, мне некогда ждать.

И он поскакал вперед. Оба еврея отчаянно бились на земле, ползая у лошадиных копыт драгун. Последние пригнули к земле одну толстую, упругую и развесистую ветку ивы и, приподняв с земли обезумевших от ужаса евреев, быстро обмотали гибкими ветвями их шеи, делая это так хладнокровно, как бы они плели плетень из хворосту. Мертвые ожерелья были скоро готовы. Несчастные жертвы почти уже не кричали и не стонали, а только бились конвульсивно в безжалостных руках своих палачей...

– Ладно... Пушай, – скомандовал рябой драгун.

– Жиды на вербе...

– На верби груши! – сострил какой-то хохол-драгун.

Дурова, закрыв лицо руками, отвернулась от этой страшной картины и сказала, не оглядываясь, бессмысленно бормоча: «О война!.. Проклятие Божие... братоубийство... Каины, Каины проклятые!..»

6

Фридланд, Смоленск, Бородино... Страшно и скверно звучат эти имена и в русской памяти, и в русской истории... Страшно и скверно звучат они на человеческом языке... словно гремят – на языке войны.

Две великие армии сошлись на берегах маленькой жалкенькой речонки Алле, впадавшей в такую же жалкенькую речонку Прегель у Фридланда. Одною армиею, большею, командует великан мира, апокалипсический страшный зверь, – ведет он ее на борьбу со всем миром. Другую армию, меньшую, ведет против апокалипсического зверя полумертвец, полуразвалина – это русский полководец Беннигсен. В предыдущей битве он трупом лежал под деревом, в обмороке, а когда приходил в сознание, то командовал шепотом... Шепот – перед ревом пушек! Полководец в обмороке – против Наполеона!

И теперь, накануне 2 июня 1807 года, у Фридланда, с глазу на глаз с страшным Наполеоном, русский полководец, больной, изнемогающий, ищет себе ночлега! Но на этом, на правом берегу «паршивой речонки» Алле, как называли ее солдаты, нет ночлега – ни одной лачужки. А там, по ту сторону, Фридланд – там можно найти и покойную постель русскому стратегу, противнику Наполеона, – Наполеон, которому седло служит постелью.

– Здесь наши позиции сильнее, чем на том берегу, – докладывает Багратион.

– Что ж, батюшка, околевать мне здесь прикажете! – сердито отвечает Беннигсен.

Нечего было делать, надо было покоряться воле главнокомандующего, которому недо- ставало постели. Только Платов не вытерпел и со свойственным ему народным юмором заметил:

– Да мои атаманцы, ваше превосходительство, из-под самого Бонапарта достанут вам постельку, тепленькую, – только прикажете, мигом выкрадут.

Беннигсен раздражительно махнул рукой, и войска получили приказ двигаться за Алле.

Как ни тяжела эта адская переправа после усиленной гонки, после бессонных ночей и дождя, хлеставшего двое суток, но солдатик выносит все, как он стоически выносит и самую жизнь свою. Да и что была бы его жизнь без шутки? Хлеба нет, сухарей нет – зато есть шутка: сапог нет на ногах – зато во рту присказка. Шутка – это солдатский приварок.

Речку большею частью приходилось переходить вброд.

– Эй, Заступенко, скидай портки! – кричит статный фланговый товарищу, который, засучив штаны, осторожно шагает по воде, выискивая, где помельче было. – Скидывай скорей!

– На що их сжидать, коли я сегодня ще не ив? – отвечает хладнокровно Заступенко.

Солдатики хохочут. И они ведь ничего не ели – ну и смешно... До портков ли тут?

– Как на что? Портками карася либо рака поймашь – ну и сварим ущицу, поужинаем.

– Овва! Зараз сама юшка зробиться.

– Как? Как, из твоих штанов разве?

– Та так. Вин нам такого жару задаст, що сама оця гаспидска ричка закипит и сама юшка из рыбы зробиться: тоди бери ложку та прямо из рички и иж... От побачите.

– Ай да хохол!

– То-то хохол! Тоди вси без штанов будемо...

Товарищи хохочут дружно, залпом.

– Молодцы, ребята! – раздается знакомый солдатикам голос. – Перебрались уж...

Солдатики встряхиваются – перед ними Багратион, любимец их, тоже шутник большой.

– Ты что, Лазарев, без сапог? – обращается он к статному фланговому, который острил над хохлом, над Заступенком: – Куда девал сапоги?

– Да мы все без сапог, вашество.

– Как без сапог?

– Точно так, вашество. Были у нас сапоги, да только все казенные.

– Так что ж?

– Без подошов, значит.

– Как без подошов?

– Точно так, вашество, – без подошов... Как обули мы их да пошли в дело – подошвы и отвалились совсем да и сапоги развалились... Так мы их, вашество, и побросали: так-то, босиком, и драться способнее, ногам вольготнее.

– А на голодни зуби, ваше проходительство, где лучше драться, – вставил свое слово Заступенко.

– Что такое? – удивился Багратион, попросту болтавший с солдатиками.

– Да хохол, вашество, говорит, что голодный солдат храбрее сытого, – поясняет Лазарев.

– Потому вин храбриший, що исти хоче...

Солдатики опять смеются. Смеется и Багратион.

– А вы, верно, очень проголодались? – говорит он.

– Очень, ваше проходительство.

– Ну, значит, хорошо драться будете.

– Будемо, ваше проходительство.

Но в это время где-то грянула пушка, за ней другая, третья, четвертая...

– Ну, дьяволы! И договорить не дали! – огрызнулся храбрый Лазарев, видя, как Багратион понесся по рядам только что перебравшегося через реку войска.

Канонада все разгоралась более и более, охватывая полукругом оба крыла нашей армии. Точно с неба или из под земли раздался этот грохот, а самих французов не видать да и ружейных залпов не слышно.

– Да где они, черти? – слышится в рядах солдат. – И стрелять не в кого.

– Береги пулю, будет в кого, – утешает старый солдат.

– Та се вин нас так лякае, бисив сын, – поясняет Заступенко.

– Он теперь себе кашу варит, так вот и пугает, чтоб мы ему не мешали, – замечает Лазарев.

– А димонив сын! Черти б зыили его батька с квасом!

– Ударимте на него, ребятушки, отымем у него кашу, – предлагает смельчак.

– Нельзя, не приказано.

А канонада не умолкает. Заступенко прав был, говоря, что француз только «так лякает». Наполеон действительно открыл канонаду под Фридландом на рассвете для того, чтоб под ее пугающим прикрытием дать время своим войскам занять выгодные позиции и успеть отдохнуть до формальной битвы.

Если б Заступенко имел хорошую зрительную трубу, то он увидел бы в едва мигающей дали, на небольшом холме, кучку людей на конях, а среди этой кучки маленького, немножко пузатенького человечка с нахлобученною на лоб треугольною шляпою, на которую не походила ни одна шляпа в мире. Заступенко увидел бы, что этот человечек, поднося к глазам зрительную трубу, показывал рукою то по тому, то по другому направлению: то он показывал иногда на него, на самого Заступенку, то на его соседа Лазарева, и особенно вон на ту ворону, испуганно каркающую над русскими пушками, взвозимыми на возвышение. Ух, как каркает проклятая ворона, не к добру!.. Если б Заступенко, наконец, мог слушать и понимать французскую речь, то он услышал бы, как этот маленький человечек в треугольной шляпе, показывая рукою на Заступенку и обращаясь к окружающим его маршалам, говорит:

– Заступенко (то бишь: «неприятель», да это все равно), Заступенко хочет, кажется, дать битву... Сегодня счастливый день, годовщина Маренго⁹. А знаешь, Заступенко, что за Маренго? Вот сегодня узнаешь.

Маленький человечек, окруженный свитою, состоящею из маршалов и генералов – Сульта, Ланна, Мюрата, Леграна и других, объезжает свои войска и осматривает как свои, так и русские позиции. А русский главнокомандующий давно нашел свою позицию, покойную постель в Фридланде, и покоит на ней свое разбитое болезнями тело. Дурной, роковой признак!.. Беннигсен не знает даже, что он очутился лицом к лицу с главными силами Наполеона, да и никто этого не знает. Знает все один только Наполеон, потому что он везде сам, везде носится его маленькое тело с большою головою, прикрытою треугольною, небывалого фасона шляпою, всюду заглядывает его зоркий глаз, и силы, и движения неприятеля ему так же ясны всегда, как движения шашек на шахматной доске. Это действительно бог, или, вернее, демон войны.

– Счастливый день, годовщина Маренго!

И эти слова императора-полководца вместе с громом пушек облетают всю великую армию, и великая армия наэлектризована, она дышит отвагой и уверенностью в победе.

Стойка и бессапожная, голодная русская армия. Все равно умирать: приказало начальство, ну – и баста. А может, коли кто уцелеет и хлебца достанет, сухарика погрызет, щец похлебают... Куда щец! Да из-за щей русский солдатик с голыми руками на пушку пойдет, без рукавиц черта задавит...

А там все бум да бумм! А стрелять не в кого... Животы подвело...

Но вот заговорили и ближние пригорки, кусты, высокая зеленая рожь. Есть в кого стрелять, есть на кого идти... Словно огненным кольцом обвились французы вокруг левого русского крыла, это их стрелки сыплют свинцовым горохом, чтобы дать возможность развернуться коннице и пехоте... Развернулись, налегли всею массою, давят; в русских рядах то там, то здесь у солдатиков подкашиваются резвы ноженьки, закатываются ясны оченьки. Места упавших заступают их товарищи, смыкаются плотнее, идут лавою... Взять бы эти проклятые, горластые пушки, которые выкашивают целые ряды босоногих и обутих героев, заставить бы их замолчать, и тогда на штыки, врукопашную, как на кулачки, улица на улицу, лава на лаву... Так нет! Шибко, смертно бьют проклятые... «Ох, смертушка!» – слышится страшный возглас. «Умираю, братцы!»... «Стой! Не выдавай, ребята! Понатужься!..»

И отчаянно натуживается мужицкая грудь, как натуживалась она и над сохой в поле, и над цепом на току, и с серпом и косой на барщине, – не привыкать ей натуживаться... Так нет! Не обхватишь всей его силищи, – несосметная она, дьяволова!

– За мной, ребяташки! – кричит Батратион с саблею наголо. – Заткнем плотку вон той проклятой старухе... Вперед!

Ему хочется завладеть одной из самых губительных неприятельских батарей, действия которой производят страшные опустошения во всем левом крыле армий, и он ведет своих молодцов в атаку, прямо в адскую пасть этой батареи.

– «За мной!»

– Вперед, братцы! Дружнее! не выдавай! – вторят ему офицеры команд, и также сверкают жалкими клинками сабель.

Идут нога в ногу, штыки наперевес, – лавой прут вперед босые и обутиые ноги... С криком «ура!» бросаются на «чертову старуху», но подкашиваемые словно серпом, не выносят

⁹ Имеется в виду деревня в северной Италии, близ которой 14 июня 1800 г. французские войска под предводительством Наполеона одержали победу над австрийской армией. Следствием этой победы был мирный договор, по условиям которого Австрия лишилась территории на левом берегу Рейна и признавала вассальными по отношению к Франции итальянские республики.

адского огня, оставляя впереди и позади себя сотни трупов, распластанных, разметанных, иногда труп на трупе...

– Нет, братцы, – неумоги... ох, смертно бьет!

И снова расстроенные ряды смыкаются, а пока они переводят дух, вперед несется кавалерия, стонет земля под конскими копытами, как лес веют в воздухе разноцветные значки, храпят лошади, что-то стонет и разрывается в воздухе – и небо разрывается, и земля разрывается... А оттуда все напирало и напирало новые силы... Ад, чистый ад!

Огненное и дымное кольцо охватывает уже и правое крыло русской армии... Вот-вот отрежут самый Фридланд, возьмут Беннигсена вместе с его ночлегом и постелью...

Он только теперь узнает, что против него вся армия Наполеона.

«Погиб! Все погибло! – стучит у него в мозгу, в сердце, во всем теле... Он падает головой на стол, на карту, на которой плохо изображена топография местности, где теперь идет битва, и стонет не то от боли, не то от отчаяния. – Пропала слава Прейсиш-Эйлау... пропала моя слава... Андрей Первозванный...» Ему вспоминается этот орден, пожалованный ему за Прейсиш-Эйлау... Непостижим человеческий ум: вспоминается ему и то, что он сегодня во сне ел гречневую кашу... Он стонет...

– Велите отступать! – хрипло говорит он стоящим около него адъютантам. – Нас отрежут.

Но и отступать уже нельзя, некуда: одно отступление – в могилу.

На правом русском крыле едва ли еще не страшнее, чем на левом и в центре... Кавалерийские полки так и тают от адского огня неприятельских батарей... Наполеон знает хорошо тактику смерти: чугунными ядрами он разрешит сначала все полки врага, смешает конницу и пехоту, насуматошит во всех частях армии и тогда пускает своих цепных собак, своих grenадер, свою старую армию, и эти псы страшные окончательно догрызают обезумевшего врага.

– Счастливей день! – то и дело повторяет он. – Годовщина Маренго! Браво, моя старая гвардия!

И несутся по армии эти ядовитые слова, и зверем становится армия...

– *Vive l'empereur!*¹⁰ – то там, то здесь воют эти бешеные псы в косматых шапках, и резня идет неумолимая, неумержимая.

Бессильно стучит об стол жалкая голова Беннигсена... «Отступать – спасаться...»

– Бейте отступление! – кричит адъютант Беннигсена, подскакивая к Горчакову¹¹, который командует правым крылом.

– Кто приказал? – сердито раздается охрипый голос последнего.

– Главнокомандующий.

– Скажите главнокомандующему, что для меня нет отступления... Я не хочу отступать в могилу... Я продержусь здесь до сумерек: пусть лучше останется в живых хоть один солдат, но пусть он умрет лицом к врагу, а не затылком... Доложите это главнокомандующему!

Отправив назад адъютанта, Горчаков пускает в атаку кавалерию... Ужасен вид этих скачущих масс: топот копыт, лошадиное ржанье, невообразимое звяканье оружия и всего, что только есть у кавалерии металлического, звенящего, бряцающего, – все это заставляет трепетать невольно врага самого смелого... Но и это бессильно заставить умолкнуть горластые пушки, рев которых еще страшнее кажется тогда, когда ядра их падают в живые массы людей, вырывают целые ряды их, мозжат головы и кости у людей, у лошадей, ломают деревья, взрывают землю и засыпают ею живых и мертвых...

¹⁰ Да здравствует император! (франц.).

¹¹ Горчаков Андрей Иванович (1779–1855) – генерал от инфантерии. В 1812 г. командовал корпусом. Особо отличился в Швардинском бою.

И Дурова несется в этой массе бушующего моря... Вот ее истомленное, бледное личико с пылающими от бессонницы и внутреннего пламени очами... Ты куда несешься, бедное, безумное дитя!

До половины выкашивают адские пушки из этой массы скачущих людей. Поля, пригорки, ложбины устилаются убитыми и искалеченными лошадьми, размозженными и расплюснутыми людьми... Вон стонет недобитый... Вон плачет искалеченная лошадь... лошадь плачет от боли! Бедное животное, погибающее во имя человеческого безумия и человеческого зверства! Тебе-то какая радость из того, что победят твои палачи? Да и тебе, бедный солдатик, какая радость и польза от того же? О! Великая польза!..

Из конно-польского уланского полка, в котором находилась Дурова, легло более половины. Перебиты начальники, перебиты офицеры, полегли лучшие головы солдатские... Почти уничтоженный полк выводят из-под огня, отдохнуть, оглядеться, промочить окровавленную водою Алле пересохшие глотки...

– Красновата вода-то, – говорит Лазарев, нагибаясь к речке, чтобы напиться. Удивительно, как сам он остался цел, находясь под самым адским огнем и ходя в штыки несколько раз, чтобы одолеть «чертову старуху» – батарею: он весь в пороховой саже, в грязи, в крови...

– Та се ж юшка, – лаконически замечает Заступенко, которого и тут не покидает шутка.

– Не уха, а клюквенный морс, братец.

Дурова посмотрела на воду и в ужасе всплеснула руками: вода действительно окрашена клюквенным морсом – солдатскою кровью! И они ее пьют, несчастные!

В это время она видит, что по полю, на котором только что происходила битва и которое теперь оставлено было живыми в пользу мертвых, валявшихся в том положении, в каком их застала смерть, – что среди этих мертвецов, по незасыпанному кладбищу скачет какой-то одинокий улан, но скачет как-то странно, без толку, то взад, то вперед. Лошадь его постоянно перескакивает через трупы, не задевая их копытами, или осторожно объезжает мертвецов.

Улан кружится, словно слепой или пьяный, то на секунду остановится, то поедет шагом, то поскачет...

Девушка подъезжает к нему, окликает издали:

– Улан! А, улан!

Молчит улан, продолжая кружиться. Она подъезжает еще ближе.

– Любезный! Земляк! ты что без толку скачешь?

Молчит, но как будто вздрагивает. Она к нему, но лошадь спасает своего седока, несется через трупы в открытое поле, к французам... Девушка дает шпоры своему Алкиду и перехватывает бродячего улана. Он шатается как пьяный, но сидит устойчиво.

– Ты что здесь делаешь, земляк?

Молчит. Глаза глядят безумно, лицо какое-то странное, на лбу кровь.

– Да говори же, что с тобой?

Улан бормочет как во сне:

– Стройся! Справа по три – марш!.. – Это бред безумного...

Тут только поняла девушка, что он ранен в голову и обезумел, но с коня не падает, словно прирос к седлу...

«Коли ты называешься улан, так тебе с коня падать не полагается, хоть ты жив, хоть ты убит, а сиди на коне... Улан падать с лошади не должен – ни-ни-ни боже мой! Падай вместе с конем – таков уланский закон... А с коня – ни-ни! Не роди мать на свете!» – вспоминаются девушке слова старого улана, ее дядьки Пуда Пудыча.

– Что у тебя голова? – спрашивает она несчастного.

– Это не голова, а ядро... Мою голову унесло, – бормочет раненый.

Морозом подирает по коже от этих слов... Его нельзя здесь бросить, он пропадет.

– Поедем со мной, – говорит она.

– Куда? Голову мою искать?.. Она укатилась – вот так: у-у-у!

– Мы найдем ее – поедем.

– Катится... катится... у-у-у-у...

Взяв за повод его лошадь, она тихо поехала к обозу, постоянно вздрагивая при безумном бормотании своего спутника.

– Ядро пить хочет... ядро кружится... ядро разорвет – берегись... у-у-у!

А там-то назади – боже мой! Страшно и оглядываться...

Кровавый день подходит к концу... Целый день битва, целый день гудят орудия, целый день умирают люди и все не могут все перемереть... Из «непобедимого» батальона Измайловского полка, из 500 человек, в четверть часа убито 400!

– Братцы мои! Родные мои! Детки мои! – словно рыдает Багратион, в последний раз обнажая свою шпагу. – Смотрите – это подарок отца вашего Суворова... Он смотрит на вас с высокого неба, смотрит на деток своих и плачет...

Он останавливается, утирает пот с усталого лица... Солдаты плачут, а иные крепятся...

– Братцы мои! Детки мои! Порадуем его, отца нашего, не дадим на позор нашу славу... ура!

Грянуло последнее, хриплое, по тем более страшное «ура!»... Последние силы понесены были в жертву страшному богу, но и они не спасли...

Кровавый день наконец кончился. На страницах истории написалось новое слово: «Фридланд».

7

Прошло десять дней после рокового Фридланда. Русские войска, гонимые страшным сереньким человеком в необычной шляпе, поспешно ушли за Неман, в Россию, махнув рукою и на Пруссию, которую они не смогли защитить от страшного серенького человека, и на свою славу, лавры которой, завядшие и полинявшие, по лепестку оборвал этот страшный серенький человек и бросил на произвол историческим ветрам.

– Буди проклято чрево, носившее тя, и сосцы, яже еси сосал! – бормотал как бы про себя, стоя на русском берегу Немана, старенький полковой священник, отец Матвей, которому вспомнилось, как он под Фридландом, в виду напиравшего на русских врага, не успел даже помолиться над телами воинов, кучами лежавших по обеим сторонам замутившейся кровью речки Алле.

День только начинается. Солнце, каждый день видевшее все битвы да битвы, освещавшее все кровь да кровь, сегодня выглянуло из-за лесу как будто приветливее... Не слышно пушечного грома... Дым от пороха не застилает очи солнышку; оно во все глаза глянуло на реку – это скромный Неман, но расположенный по береговому склону ее городок – это город Тильзит. По обоим берегам Неман усыпан народом, войсками всех национальностей, оружия и типов, стонет тысячами голосов. Что это за сборище? И почему все эти массы толпятся у берега, посматривая на реку, на середине которой, на поверхности воды, держится что-то невиданное, необычайное? Это на воде обширный плот, а на плоту – два красивых, затейливо изукрашенных флагами здания: одно из них – большее, более затейливое и более изукрашенное, другое – меньшее, меньше и изукрашенное. Над большим высятся два фронтона, и на одном из этих фронтонов красуется гигантская буква N, на другом – такое же гигантское A. Далеко видны эти буквы. На верхушке последнего фронтона, над самою буквою A, сидит ворона и громко, беспутно как-то каркает, обратившись клювом к русскому берегу реки.

– Ишь проклятая! – ворчит на нее знакомый уже нам гусарик, тот самый, что распространялся об «эскадронной Жучке», толкаясь на берегу Немана вместе с другими солдатами.

– Ты что огрызаешься? – спрашивает его старый гусар Пилипенко, тот, который плакал над раненой Жучкой.

– Да вон, дядя, ворона в нашу сторону каркает, на нас, значит.

– На свою голову, не на нас.

– А що воно таке там написано? – любопытствует Заступенко. – Якого биса вин там надряпав?

– Какого беса! Эх, ты хохол безмозглый! Надряпал! – строго замечает гусарик. – Эко слово сказал!

– А що ж? То вин писав, а вин ще ничего добраго не робив.

– То-то не робил! Это знаешь, что написано там?

– Та кажу ж тобі, чортив москаль, що не знаю – я не письменный, – сердится Заступенко.

– А вот что написано: это иже, а вот это – аз?

– Так що ж коли иже та аз? А що воно таке се бисове иже та сей чортив аз?

– Ну, хохол, так хохол и есть! Безмозглый – мозги с галушками съел.

– Та ты не лайся, а кажи дило.

– Дело я и говорю: иже – значит император, а аз – Александр. И выходит – императору Александру.

– Те-те-те! От вигдава бисив сын.

В разговор вмешивается донской казак, который предлагает новое толкование буквам, написанным на фронтонах павильона.

– Ты говоришь – иже – инператор; а я думаю – не инператор, – обращается он к гусарику.

– А что ж, по-твоему?

– А вот что, брат. Кто строил эти палаты-то?

– Он, француз, знамо.

– Так как же, по-твоему, себя-то он и обидит? Не таковский он человек, чтоб обижать себя. А он вот какую штуку придумал: одна-де каланча пушай будет ваша, к примеру, русская; на ней аз будет стоять – Александра, значит, Павлович; а на другой-де каланче я сам себя напишу... И написал иже... А знаешь, что такое иже? А?

– Иже и есть!

– То-то! Не совсем с того хвоста... Слыхал ты об антихристе?

– Ну что ж! Слыхал.

– А кто антихрист?

– Он – Апалион, – это всякий знает.

– Ну, так вот и знай: в Священном писании иже и есть антихрист... «иже, – говорит, – придет соблазнять людей и покорити их под нозе ног»... Вот что!

И гусарик, и Заступенко объявили протест против этого толкования и за разрешением своего спора обратились к батюшке, который тоже стоял на берегу и задумчиво глядел на Тильзит, в котором виднелось необыкновенное движение.

Гусарик подошел к батюшке под благословенье и спросил:

– Скажите, батюшка, зачем это он написал там иже?

– Какое иже? Это не иже, любезный, а французское наш – «Наполеон», значит; а это аз – «Александр».

– Об аз-то, батюшка, я и сам догадался, а вот иже-то меня сбило... Покорнейше благодарим, батюшка.

И гусар, почесав в затылке, отошел к товарищам, чувствуя свое посрамление.

В другой группе солдатиков шли не менее оживленные толки о том, зачем он, Наполеон то есть, назначил свидание с царем русским непременно на воде, а не на земле.

– Зачем! Знамо зачем – от гордости... Он теперь думает о себе, что ему черт не брат, – ну и ломается, как свинья на веревке, – говорит солдатик с Георгием.

– Это точно, что ломается, – вторит другой.

– Затесавшись эта ворона в чужие хоромы и говорит нашему царю: «Жди, – говорит, – русский царь, меня в гости».

– Ишь ты! А вот чего не хочешь ли? – И солдатик рукой показал нечто, чего, по его мнению, Наполеон не хочет. Ну а царь-от и говорит: «Сунься-ко».

– Значит, рыло в крови будет...

– Знамо. А он и говорит: «Досюдою, – говорит, – до Немана, я дошел – досюдою, значит, моя земля; а дотудю, – говорит, – за Неманом – твоя, дескать, земля» – русская, значит; русского царя батюшки. «А вода, дескать, не земля, она ничья – она Божья: так приходи, – говорит русскому царю, – либо ты ко мне в гости на Божью воду, либо я к тебе – оно де и не обидно никому».

– Ишь шельма! Ловко придумал.

– А я, дядя, не то слыхал, – вмешивается третий солдатик.

– А что?

– Да сказывают: он для того хочет с нашим-то в воде встретиться, что как они вдвоем с нашим владеют всем светом, он – этой половиной, а наш – этой, так ежели теперича они,

примером сказать, сойдутся вместе, так земля, значит, не сдержит их... такая у них у обоих силища!

– Сила не маленькая, что говорить! Поди, и впрямь земля не выдержит.

– Говорю тебе – не выдержит...

– Где выдержать!

– Да и потому им нельзя встретиться на земле, что за нас опасаются, – пояснял солдатик с Георгием.

– А для чего им за нас опасаться, дядя?

– Как для чего! Мы задержимся с ими, с французами: как бы сошлись маленько, так и драка.

– Это точно, что драка.

– Да еще какая драка, братец ты мой! Потому мы будем опасаться за свово, а они за свово – ну и пошла писать...

– Где не пошла! Таковую бы ердань заварили, что ой-ой-ой!

– Верно... А тут бы наши казачки скрасть ево захотели...

– Как не захотеть! Лакомый кусочек... А казаки на это молодцы, живой рукой скрадут.

– Скрадут бесприменно... Вон не дале как под Фридландом французский бекет скрали... Велели это Каменнов да Греков – уж и ловкие ж шельмецы! – велели это своей сотне раздеться, да нагишом, в чем мать родила, аки младенцы из купели, и переплыли через реку, да и скрали бекет, а опосля как кинутся на самый их стан, а те как увидали голых чертей, ну и опешили...

– Да, ловкие шельмы эти казаки.

– Где не ловкие! Поискать таких, так и не найдешь.

– Где найти! Продувной народец.

Как бы в подтверждение этого в толпе показался верховой казак, который, перегибаясь то на ту, то на другую сторону, словно выюн, и делая разные эволюции пикою, покрикивал:

– Эй, сторонись, братцы! Подайся маленько! Конвой идет, конвой дайте место.

Толпа несколько отхлынула и оттеснила в сторону пейсатого еврейчика, который, толкаясь среди народа с лотком, наполненным булками, огурцами, колбасами и всякой уличной снедью, выкрикивал нараспев и в нос:

– Келбаски свежи... огуречки зелены... булечки бялы... Ай-вей! Ай-вей!

В одно мгновение казак так ловко нанизал на свою пику огурец, потом колбасу, затем булку и все это пихал себе за пазуху, что еврейчик положительно не мог опомниться...

– Ай, да казак! Ай, да хват!

– Ай-вей! Ай-вей! Мои булечки! Мои огуречки! Ай келбаски!

В толпе хохот.

– Сторонись, братцы! Подайся маленько! Конвой идет! – покрикивал этот «хват» как ни в чем не бывало.

К берегу Немана действительно двигался конвой стройными рядами, блестя на солнце оружием и красивыми мундирами. Конвой составляли полуэскадрон кавалергардов, чинно и гордо восседавших на холеных конях, и эскадрон прусской конной гвардии, которой еще более, чем русскому воинству, тяжело досталось от немилостивой руки «нового Атиллы». Конвой, оттеснив толпу, выстроился в линию, которая правым флангом упиралась в берег Немана, а левым касалась какого-то полуразрушенного здания, осеняемого, однако, двумя огромными флагами – русским и прусским.

То же самое движение замечалось и на противоположном берегу Немана, особенно же в той улице Тильзита, которая вела к реке: старая наполеоновская гвардия становилась шпалерами вдоль улицы, эффектно покачивая в воздухе своими высокими меховыми шапками. О, как их знал и ненавидел весь мир, эти страшные шапки, и как при виде их трепе-

тали короли и народы!.. И итальянское, и африканское, и сирийское солнце жгло своими лучами эти ужасные шапки!.. Оставалось только, чтоб русское суровое небо посыпало их своим инеем... И оно – о! Оно скоро не только посыплет, но и совсем засыплет их...

Эти назойливые, острые и жгучие мысли винтили мозг юной Дуровой, которая урвалась из своего эскадрона, прошедшего мимо Тильзита в Россию, и очутилась вместе с другими зрителями на берегу Немана, сгорая нетерпением хоть издали увидеть того, которого она – она сама не могла уже дать себе отчета – не то ненавидела еще больше, чем прежде, не то... Нет, нет! Она только чувствовала, что он, этот, в одно и то же время и страшный и обаятельный, демон войны, поражал ее, давил своим величием... Она страдала за русскую славу, за себя лично, за отца, за всех погибших в боях товарищей своих, и в то же время душа ее как-то падала ниц перед страшным гением, падала от удивления, смешанного с ужасом...

– Об чем вы думаете, Дуров? – раздался сзади ее тихий, ласковый голос.

Она невольно вздрогнула. У самого ее плеча светились теплым блеском калмыковатые глаза Грекова.

– О чем или о ком? – еще тише повторил Греков. – О недавнем нашем враге, а теперь союзнике?

– Ах, Греков, Греков! – отвечала со страстным порывом девушка. – Я не знаю, что со мной делается... Он – это какой-то демон... я только о нем и думаю... После наших поражений я много, много думал... Ведь не может же быть, чтоб это делалось так, случайно, одним счастьем... Да боже ж ты мой! – и в Тулоне счастье, и на Аркольском мосту счастье¹², и под пирамидами счастье – Господи! Куда ни ступит эта нога, везде она попирает все усилия людей, их ум, их волю, все, все падает перед ним... Ведь весь Запад, до этой жалкой речонки, все он взял, все искромсал... Остается перешагнуть сюда, на этот берег – и весь мир его... Господи! Да что ж это будет!

Ласковые глаза Грекова с любовью глядели на раскрасневшееся лицо его юного собеседника. Но при последних словах Дуровой он горячо возразил:

– Нет! Этого-то не будет, сюда он не перешагнет...

– Эй, односум! Цари скоро приидут? – закричал Заступенко, продолжавший толкаться в толпе.

Возглас его относился к «хвату» казаку, который теперь, отъехав в сторону, наслаждался булкой с колбасой, закусывая огурцом.

– Односум! Чуй-бо! Цари скоро приидут?

– Какой я тебе односум, «хохли – все подохли!» – спокойно отвечал казак, глотая свою добычу. – Разве ты казак донской?

– Казак, тильки чуб не так... Та ты скажи, скоро приидут?

– Нет, не скоро, когда хохлы поумнеют.

– Овва! Та се ж тоди буде, як вы красти перестанете.

Но толпа усиленно задвигалась и зашумела – явный признак, что что-то приближается.

Действительно приближался блестящий поезд. Вдали, между рядами войск, показались трепещущие в воздухе султаны и перья, конские гордо поднятые головы и головы сидящих на них генералов. Посреди них катилась коляска, на четыре места. Коляска катится ближе и ближе... В коляске сидят трое, но лица всей толпы и войск преимущественно обращены к одному. Это – белокурый, с рыжеватыми бакенбардами мужчина лет около тридцати; он одет в генеральский мундир Преображенского полка, но без эполет, а только с жгутами;

¹² Речь идет о знаменитых битвах Наполеона, принесших славу будущему императору Франции. Город Тулон был местом роялистского мятежа во время французской революции. В результате решительных действий капитана Наполеона Бонапарта, применившего при осаде артиллерию, гарнизон был вынужден сдаться. На Аркольском мосту в ноябре 1796 г. произошло упорное сражение французских и австрийских войск, Бонапарт со знаменем в руках возглавил одну из штурмующих колон.

через правое плечо к груди перекинута аксельбанты; на голове высокая треугольная шляпа с черным султаном на гребне и белым плюмажем по краям; на ногах белые лосины и короткие ботфорты; шарф и шпага блестят так красиво, а андреевская лента через плечо видна за версту.

– Царь! Царь! – слышится в толпе.

– А с ним кто?

– Цесаревич Костянтин¹³.

– Знаю я... А другой-то?

– Прутский король, пардону, значит, у нашего просит – помощи.

Царский поезд остановился у полуразрушенного здания. При выходе из коляски царь беглым взглядом окинул видневшиеся сквозь шпалеры гвардии плавучие на реке павильоны и скользнул взором по громадным, красовавшимся на фронтонах буквам N. A.

Он вошел в уцелевшую комнату полуразрушенного здания, вошел с болью в сердце, отразившейся на лице.

За Александром, молча и хмуро, входят прусский король, цесаревич Константин и обширная свита. Все молчат и все ждут... Минута, две, три – конца нет минутам!.. Исторические минуты... А его все нет – он не торопится... Багратион нервно поправляет кресты на широкой груди и хмурится, Беннигсен устался в землю, словно ему в очи лезут Пултуск, Эйлау, Фридланд с мягкой, проклятою постелью. У Платова как будто на лице написано: «У, дьявол корсиканский! Его и почечуй не берет...» Тягостное, невыносимо тягостное ожидание! «Это демон какой-то... Что же он не едет?..»

Из-за спины Багратиона выглядывают два черных глаза, упорно наведенных на императора. Юное лицо, курчавые, спадающие на белый лоб волосы, добрые, какие-то сладкие губы, доброе выражение глаз – ничто, по-видимому, не изобличает, что это уже закаленное исчадие войны, хотя еще слишком юное, но кипучее, беззаветно дерзкое. Это Денис Давыдов – поэт и в душе, и на деле, гусар по традициям и по темпераменту.

Прошло полчаса ожидания, точно жизнь вселенной остановилась на полчаса! Из-за чего! Из-за того, что один маленький человечек не успел еще выпить обычную чашку своего утреннего кофе.

– Ваше величество! Там уже ждут вас, – говорит Мюрат этому маленькому человечку.

– Ждут?.. Кто встал до солнца, должен ждать его, – отрывисто отвечает маленький человечек, доканчивая свой кофе.

– Но Иисус Навин может приказать солнцу поторопиться, как он приказал ему когда-то помедлить, – с улыбкой замечает Талейран.

– О, вы всегда находчивы, – говорит маленький человечек, ласково кивая Талейрану¹⁴. – Солнце встает...

И он направился к выходу.

¹³ Цесаревич Костянтин – речь идет о Константине Павловиче (1779–1831), великом князе, брате императора Александра I. Во время войны 1805–1807 гг. он командовал гвардией.

¹⁴ Талейран Шарль Морис (1754–1838) – французский государственный деятель, дипломат. Начало его карьеры приходится на годы французской революции. Приняв участие в перевороте 18 брюмера, он получил затем от Наполеона портфель министра иностранных дел. После Тильзитского мира между Талейраном и Наполеоном произошли разногласия на почве различной оценки внешнеполитических действий французского императора. Окончательный разрыв произошел в 1809 г., когда Талейран пошел на сговор с Александром I. Ловкий и хитрый дипломат, он мог одновременно служить французскому, австрийскому и российскому дворам, что принесло ему баснословное состояние. Для Талейрана характерны такие качества, как полное отсутствие эмоций, умение слушать собеседника, сдержанность, способность сохранять спокойствие при неудачах и поражениях.

И земля, и воздух задрожали, когда маленький человечек, окруженный блестящею свитою из сановников – Мюрата, Бертье¹⁵, Дюрока¹⁶ и Коленкура, показался среди своей гвардии, в своей исторической, известной всему миру шляпе.

Голоса из-за Немана донеслись и в полуразрушенное здание, где ждали того, кому теперь кричат. Александр судорожно сжал перчатку, которую машинально вертел в руке... Ноздри его расширились, как будто бы в груди оказалось мало воздуха и надо было его побольше вдохнуть в себя. Да, мало воздуха, тесно стало, душно...

– Едет, ваше величество! – провозгласил дежурный флигель-адъютант, отворяя дверь.

Прусский король вздрогнул и испуганно заглянул в глаза Александру. Он заметил в них какой-то новый огонек...

Вскоре от того и другого берега Немана отъехали барки с развевающимися штандартами России и Франции, они отъехали в один момент по сигналу, который известен был только капитанам барок.

И удивительно! Все головы и с того и с другого берега реки обратились в одну сторону, все тысячи глаз устремились на одну маленькую точку, видневшуюся на барке, которая двигалась от тильзитского берега. И не удивительно! Это он, тот маленький и необыкновенно великий человек, которого не рождение, не богатства и не исторические предрассудки вознесли на недостижимую высоту, а его собственный, небывалый в истории всего мира гений, и какая высота! Высота, до которой не достигал ни один человек, рожденный женщиною.

– Яке ж воно маленьке! – невольно вырывается наивное до трагизма восклицание добродушного Заступенки. – Мати Божа, яке малесеньке!

А это «малесеньке», в своей мировой шляпе, «позе, тоже знакомой всему миру, стоит впереди своих генералов, скрестивши на груди руки, и глядит – нет, он как будто никуда не глядит, ни на кого, а в глубь самого себя, в глубь своей великой души, этой страшной пропасти, до половины залитой кровью...

Что ж это за чудовище? Что это за великан? Где печать его гения?

Ничего не бывало!.. Что-то маленькое, толстенькое, пузатенькое, кругленькое... Гладко, плотно лежащие, далеко не густые волосы... Матовая белизна лица, лица какого-то каменно-неподвижного, какое-то отсутствие выражения в глазах, скорее кротких и ласковых, чем холодных, и удивительно кроткая, детски кроткая улыбка.

Но вот эти кроткие глаза скользнули по двум буквам на фронтонах и задумываются... И рисуется перед ними, как рука истории, невидимая, всесильная рука стирает другую букву, букву А, и горит над миром одна-единая буква, словно всевидящее око Творца... Эта буква N... око всевидящее мира.

«Едино стадо и един пастырь», – думается ему.

И Александр глядит на роковые буквы на фронтонах. «Да, N больше, положительно больше А... неужели это апокалипсическое существо?!»

Вот близко-близко плот с павильонами, фронтонами и буквами...

Наполеон сделал какое-то едва заметное движение, и его барка полсекундой раньше стукнулась о край плотов. Полсекундой раньше, чем Александр, он ступил ногой на паром и сделал два шага навстречу Александру.

Ворона, все время сидевшая на одном из фронтонов, над буквою А, снялась и полетела.

– Полетила-полетила! – как-то радостно крикнул Заступенко.

– Кто полетел?

– Ворона...

¹⁵ Бертье Луи Александр (1753–1815) – герцог Невшательский, князь Вограмский, маршал Франции, начальник главного штаба Наполеона. После поражения императора одним из первых перешел на сторону Бурбонов.

¹⁶ Дюрок Жерар Кристоф Мишель (1772–1813) – герцог Фриульский, французский генерал, доверенное лицо Наполеона. Выполнял ряд дипломатических поручений, участвовал во франко-австрийской войне 1809 г.

- Ну, что ж! А ты, хохол, видно, все ворон считаешь? – сострил казак.
- Ни, вона полетела онкуда, до их... Бude им лихо... У Хранцию полетела...
- А тебе жаль, хохол, что она тебе не в рот влетела?
- Молчи, гостропузый! Вона боялась, що ты ни вкрадешь...

И Наполеон, и Александр вошли в павильон разом, нога в ногу, боясь, чтоб, кто-нибудь на пол-линии, на полноздри, как лошади на скачках, не опередил один другого... Но что они говорили между собой в павильоне, говорили с глазу на глаз, в течение двух часов, этого ни историки, ни романисты не знают.

8

Оставим на время поля битвы и кровавые картины смерти, при виде которых болью и горечью закипает сердце, смущается разум, падает, словно барометр перед бурей, вера в прогресс человечества, а грядущее торжество добра и правды над злом и ложью, творческой силы духа над силою разрушительною. Дальше от этого дыму ужасного, от этого хохота пушек, безжалостно смеющихся над глупостью людскою! Дальше от этого стога умирающих, которые призывают к будущим поколениям, к поколениям мира и братской любви! Дальше! Дальше!..

С полей битв, от убивающих друг друга людей, хочется перенестись... к детям. Они еще не научились убивать.

Перед нами живой цветник. Это и есть дети, в теплый июньский вечер высыпавшие на гладкую, усыпанную песком площадку Елагина острова, на той его оконечности, которая обращена ко взморью и называется аристократическим пуэнтом. Чем-то оживлены эти смеющиеся, покрасневшие, миловидные личики мальчиков и девочек от пяти до десяти и более лет. Музыкально звучат в воздухе веселые возгласы, звонкий смех, задушевное лепетанье... Да, здесь еще нет веянья смерти – дети играют.

Кудрявый, черноголовый мальчик лет восьми, с типом арапчонка, взобравшись на скамейку, декламирует:

Стрекочущу кузнецу
В зленеы блате сущу,
Ядовит червецу
По злакам ползущу...

Дружный взрыв детского хохота покрывает эту декламацию. Иные хлопают в ладоши и кричат: «Браво! Браво, Пушкин!»

Арапчонок, поклонившись публике, продолжает:

Журавель летящ во грах,
Скачущ через ногу,
Забываячи все страхи,
Урчит хвалу Богу.

– Браво! Браво! брависсимо! Бис! – звенят детские голоса. Арапчонок с комическим пафосом продолжает:

Элефанты и леопты,
И лесные сраки,
И орлы, оставя мопты,
Учиняют браки...

– Ах, бесстыдник барин! Вот я уже мамашеньке скажу, – протестует нянюшка арапчонка, бросившая вязать чулок и подошедшая к шалуну. – Что это вы неподобное говорите, барин!

– Молчи, няня, не мешай! Это Третьяковский, наш великий, пиита, – защищает арапчонок и продолжает декламировать:

О, koliko се любезно,
Превыспренно взрачно,
Нарочито преполезно
И сугубо смачно!

И, соскочив со скамейки, он обхватывает сзади негодующую нянюшку, преспокойно усевшуюся под деревом, перегибается через ее плечо и целует ворчунью.

– Вот так сугубо смачно! – хохочет шалун.

Нянюшка размягчается, но все еще не может простить озорнику.

– Посмотри, – говорит она, – как умненько держит себя Вигельмушка...

– Ай! Ай! Вигельмушка! Вигельмушка! Да такого, няня, и имени нет...

– Да как же по-вашему-то? Я и не выговорю... Вигельмушка Кухинбеков.

Арапчонок еще пуще смеется. Смеется и тот, которого старушка называет Кухинбековым.

– Кюхельбекер моя фамилия, нянюшка, – говорит он, мальчик лет Пушкина или немного старше, такой беленький и примазанный немчик в синей курточке.

– Эх, няня! Да Кюхельбекер и шалить не умеет! – смеется неугомонный арапчонок. – Он немчура, ливерная колбаска.

– А ты – арап, – возражает обиженный Вильгельмушка Кюхельбекер.

– Ну, перестаньте ссориться, дети, – останавливает их нянюшка. – Перестаньте, барин.

– Да разве он смеет со мной ссориться? Ведь я – сам Наполеон... я всех расколочу, – буйнит арапчонок, становясь в вызывающую позу.

– А я сам Суворов, – отзывается на это мальчик лет одиннадцати-двенадцати, в зеленой курточке со светлыми пуговицами. – Я тебя, французский петух, в пух разобью.

– Ну-ка, попробуй, Грибоед! – горячится арапчонок, подступая к большому мальчику. – Попробуй и съешь гриб.

Задетый за живое Грибоедов – так звали двенадцатилетнего мальчика – хочет схватить Пушкина за курточку, но тот ловко увертывается, словно угорь, и когда противник погнался за ним, он сделал отчаянный прыжок, потом, показывая вид, что поддается своему преследователю, неожиданно подставил ему ногу, и Грибоедов растянулся.

Последовал дружный хохот. Больше всех смеялись девочки, которые играли несколько в стороне, порхая словно бабочки.

– Ах, какой разбойник этот Саша Пушкин! – заметила одна из них, белокуренькая девочка почти одних лет с Пушкиным, в белом платье с голубыми лентами.

– Еще бы, Лизута, – отвечала другая девочка, кругленькая, завитая барашком брюнеточка, по-видимому, ее приятельница, не отходившая от Лизуты ни на шаг. – Он совсем дикий мальчик – ведь у него папа был негр.

– Не папа, а дедушка...

Первая из этих девочек была Лиза, дочь Сперанского, входившего в то время в великую милость у императора Александра Павловича. Курчавая брюнеточка была ее воспитанница, Сонюшка Вейкард, мать которой пользовалась большим расположением Сперанского и была как бы второй матерью Лизы, в раннем детстве лишившейся родной матери – англичанки, урожденной мисс Стивенс.

Маленький Пушкин, догадавшись по глазам девочек, что они не одобряют его проказ, тотчас же сделал им гримасу и, повернувшись на одной ножке, запел речитативом:

Хоть папа Сперанской
И любимец царской,
Все же у Сперанской,

Одетой по-барски,
Облик семинарской...

Будущий поэт уже и в детстве часто прибегал к сатире – к бичу, которого впоследствии не выносил ни один из его противников...

Этот злой эскиром услышали другие девочки и засмеялись... «У любимицы царской – облик семинарской», – не без злорадства повторяла одна из них, маленькая княжна Полина Щербатова. Все это были дети петербургской и отчасти московской аристократии – княжны Щербатова, Гагарина, Долгорукая, Лопухина, будущие красавицы и львицы.

– Ах, как смешно! «У Лизы Сперанской – облик семинарской...»

Все эти дети аристократов слышали часто от своих родителей, что Сперанский всем им перешел дорогу, у всех отбил царя, и потому привыкли к эпитетам насчет Сперанского – «семинарист», «попович», «звонарь», «кутейник», «выскачка», «сорвался с колокольни» и т. п.

Лиза не могла вынести насмешки и заплакала, хотя старалась скрыть и слезы, и смущение. Зато Сонюшка, вспыхнув вся, подбежала к озорнику Пушкину и дрожащим от волнения голосом сказала:

– Вы гадкий мальчишка... Я не знаю, как с вами играют благородные мальчишки... Вы негр, сын раба, у вас рабская кровь... фуй!

Девочка вся раскраснелась от негодования. Пушкин, как ни был дерзок и находчив, не нашелся сразу, что отвечать, особенно когда другие девочки начали шептаться между собою, но так, что Пушкину слышно было: «Негр... негр... рабская кровь...»

– Все же я не сын звонаря, – защищался он. – Я не с колокольни...

– Хуже, – заметил ему обиженный им Грибоедов, – ты из зверинца... твой дедушка съел твою бабушку...

– Молчи, Грибоед!

– Молчи, людоед!

– Саша Вельтман приехал! – кричит маленькая княжна Щербатова. – Он у нас будет водовозом...

– А вон и Вася Каратыгин идет со своей мамой, – лепечут другие дети...

Пушкин, Грибоедов, Кюхельбекер, Вельтман¹⁷, Каратыгин¹⁸ – все эта дети, играющие в Наполеона, ловящие бабочек на Елагином острове, дети, которых имена впоследствии прогремят по всей России... А теперь они играют, заводят детские ссоры, декламируют «стрекочуща кузнеца» и «ядовита червеца...». Но и до их детского слуха часто доносится имя Наполеона, оно в воздухе носится, им насыщена атмосфера...

Лиза, огорченная выходкой дерзкого арапчонка, отделяется от группы играющих детей и подходит к большим.

На скамейке, к которой она подошла, сидят двое мужчин: ветхий старик с седыми волосами и отвисшей нижней губой, и молодой, тридцати пяти-четырех лет, человек с добрым, худым лицом и короткими задумчивыми глазами. Некогда массивное тело старика казалось ныне осунувшимся, дряблым, как и все лицо его, изборожденное морщинами, представляло развалины чего-то сильного, энергического. Огонь глаз потух и только по временам вспыхивал из-за слезящихся старческой слезой век. Седые пряди как-то безжизненно, словно волосы с мертвой головы, падали на шею с затылка и на виски. Губы старика двигались, словно беззубый рот его постоянно жевал.

¹⁷ Вельтман Александр Фомич (1800–1860) – популярный беллетрист, которого ставили в ряд с такими известными романистами, как Марлинский, Загоскин, Лажечников. Особое место в его творчестве занимали исторические романы («Кошей Бессмертный», «Святославич, вражий питомец», «Райна, королева Болгарская»).

¹⁸ Каратыгин Василий Андреевич (1802–1853) – знаменитый русский трагик.

Эта развалина – бессмертный «певец Фелицы», сварливый и завистливый старик Державин, министр юстиции императора Александра I. И он выполз на пуэнт погреться на холодном петербургском солнце, посмотреть на его закат в море, закат, которого, кажется, никто из смертных не видывал с этого знаменитого пуэнта. Старик не замечал, что и его солнце давно, очень давно закатилось, хотя и в полдень его жизни оно не особенно было жарко.

Сосед его, кроткий и задумчивый, был Сперанский. Этого солнце только поднималось к зениту, и что это было за яркое солнце! Сколько света, хотя без особого тепла, бросало оно вокруг себя, как ярко горело оно на всю Россию, хотя скользило только по верхам, не проникая в мрачные, крошечные трущобы темного царства!..

Усталым смотрит это кроткое, задумчивое лицо. Заработалась эта умная, рабочая голова, не в меру много и о многом думающая. Устали эти молодые плечи, навалившие на себя слишком великую тяжесть. Рука устала, устала держать перо, водить им по бумаге. И глаза устали, им бы теперь отдохнуть на зелени, на играх детей, на гладкой поверхности взморья, на закате солнца, которого, кажется, никогда не будет. А этот старик так надоедливо шамкает...

– Я хочу, ваше превосходительство, так это выразить – повозвышеннее:

Унизя Рима и Германьи
Так дух, что, ими въявь и втай
Господствуя, несыты длани
Простер и на полночный край.
И зрел ли он себе препону,
Коль мог бы веру колебнуть,
Любовь к отечеству и к трону?
Но он ударил в русску грудь...

С видимой скукой Сперанский слушал эти спотыкающиеся вирши выдохшегося от времени, полинявшего от старости и окончательно терявшего поэтическое чутье ветхого пиита; грустное чувство возбуждала в нем эта человеческая развалина, перед которой все еще издали благоговела Россия, развалина, не сознающая, что в душе ее и в сердце завелась уже паутина смерти, что творчество ее высохло, как ключ в пустыне; грустно ему было заглядывать и в свое будущее – и там паутина смерти, забвение, мрак... Но при слове «веру колебнуть» улыбка сожаления невольно скользнула по его лицу, пробежав огоньком по опущенным глазам. Однако он не сделал возражения – бесполезно! Поздно перед могилой!..

А старик продолжал шамкать, силясь, хотя напрасно, овладеть своими непокорными губами и коснеющим языком, который по старой привычке искал зубов во рту, обо что бы опереться, и не находил.

– Я нарочито напирая, ваше превосходительство, на «русску грудь»:

О, русска грудь неколебима!
Твердейшая горы стена,
Скорей ты ляжешь трупом зрима,
Чем будешь кем побеждена.
Не раз в огнях, в громах, средь бою,
В крови тонувши ты своей,
Примеры подава собою,
Что россов в свете нет храбрей.

И опять по глазам Сперанского скользнула улыбка сожаления, а надо слушать... эти кочки вместо стихов, – старик ведь так самолюбив... да и недолго, вероятно, придется слушать это предмогильное шамканье... Скучно на свете!

– Как вы находите сие, ваше превосходительство? – спросил старик, закашлявшись и стараясь передохнуть.

– Превосходно, превосходно, как все, что выходит из-под пера вашего высокопревосходительства.

В это время подошла Лиза и застенчиво остановилась около отца.

– Это дочка ваша? – спросил Державин, ласково глядя на девочку.

– Дочка... единственное сокровище, которое осталось у меня на земле, – тихо сказал Сперанский и положил руку на плечо девочки.

– А Россия, ваше превосходительство? Она дорога вам...

– Да, но она не моя... а это – мое...

– Прелестное дитя, прелестное... Вся в папашу, и умом, верно, в папашеньку будет.

– О, она у меня умница, умнее папаша... Больше меня языков иностранных знает. Да ты что не играешь с детьми? А? Соскучилась?

– Соскучилась, папа.

– А где же твоя Сонюшка-козочка?

– А там, играет.

– А мама где? – «Мамой» Сперанский называл г-жу Вейкард.

– Мама вон на той скамейке, с дядей Магницким разговаривает. Вон, где Крылов стоит да Жуковский с Гречем.

– Девочка-то всех знает... экая милая крошка, – заметил Державин.

– А вас она почти всего наизусть знает, – выронил Сперанский.

Старик как-то по-детски, но невесело улыбнулся и опустил голову.

– Да... да... правда... И в могиле когда я буду, будут меня читать... да я-то не услышу себя...

И старик еще более осунулся и сторбился. Губы его что-то беззвучно шептали, а голова тихо дрожала. «Не услышу... не услышу...» По какому-то неисповедимому капризу мысли старческая память сразу перенесла его с Елагина острова на Волгу, в Саратов, в светлую и счастливую молодость, когда он, в чине молодого гвардейского офицера, гонялся за страшным Пугачевым и улепетывал (в чем он, впрочем, никому не сознавался) от его «страховитых очей», как полемизировал с комендантом Бошняком насчет защиты Саратова. Эта хорошенькая девочка Юнгер, с большущими, смелыми глазами – больше глаза, чем у Лизы Сперанской. Арбузы камышинские... А там слава, лстивые похвалы, лавры на голове... а под лаврами – седые волосы... беззубый рот... могила скоро... и на могиле будут лавры, и на гробу... Вот отчего дрожит голова у старика – от лавров...

«А потом и меня забудут – перестанут читать меня... других читать будут... может быть, вон того арапчонка...»

– Да ты, Лизута, кажется, плакала? Что у тебя глазки? – спрашивает Сперанский, глядя голову девочки. – Плакала? О чем?

Девочка молчит, не смеет сказать правду, а неправду еще никогда не говорила.

– Верно с Сашей Грибоедовым опять не ладили? Или с Сашей Пушкиным?.. Преострый мальчик!

Девочка обхватила руками шею отца и ласково шептала:

– Ничего, папочка... это так... немножко...

– Да как же так? И немножко не надо плакать этим глазкам.

– Ничего, ничего, папуля.

В это время подскочила к ним Соня Вейкард, такая веселая, оживленная.

– Ну, Сашу Пушкина совсем арестовали, – щебетала она. – Его няня рассердилась на него и насильно увела.

– Да что он, обидел кого-нибудь? – спросил Сперанский.

– Да, он всех обидел.

Сперанский невольно засмеялся при этом наивном ответе девочки.

– О, это на него похоже... Так всех обидел?

– Всех... А его обидел Саша Грибоедов.

– Так он и Лизуту обидел?

– И Лизуту.

– Как же? Чем?

Девочка замялась и поглядела на Лизу. Обе вспыхнули.

– Ну, чем же? А? Говори, моя козочка.

– Стихами обидел, – решила наконец сказать Соня.

– Какими стихами?

– Об Лизе.

– Вот как! Стихами о моей Лизе? Что ж это за стихи?

Девочка опять замялась. Ее выручила сама Лиза, которая наконец решила все сказать.

– Он говорит, папа, что ты любимец царский, а у меня облик семинарский.

По лицу Сперанского пробежала тень. Он понял, что устами мальчика, устами резвого ребенка говорит весь Петербург, его завистливая, ничему не учившаяся, ничего, кроме французского языка, не знающая и ни на что, кроме интриг, неспособная аристократия. Он вновь убеждался, что против него ведется тайная война, роются подкопы под каждый его смелый шаг, чернится каждое его лучшее дело... В нем заговорила гордость борца, чувствующего свою мощь среди пигмеев и бездарностей...

– Что ж, милая, в этом нет для меня и для тебя ничего обидного, что я был семинаристом... Я горжусь своим семинарским происхождением...

– А Ломоносов, великий Ломоносов был крестьянин, простой рыбак, – прибавил очнувшийся Державин. – А твой папа советник и любимец государя императора... Сам Пушкин, может быть, так и умрет каким-нибудь прапорщиком или корнетом, а то и копиистом безграмотным, а Лиза Сперанская, бог даст, по милости великодушного монарха, скоро будет графиней Сперанской, а то и княжной... И это не за горами... И Лизу будет знать вся Россия, а Пушкина – никто.

– Я, дедушка, – заторопилась Соня, подбегая к Державину, – еще хуже обидела Пушкина.

– Чем же, моя птичка?

– Да я ему, дедушка, сказала, что у него папа был негр...

– Ай да молодец, девочка! Люблю за находчивость... А ты б сказала ему, что его предок был куплен за бутылку рома.

Девочки так и покатались со смеху при этих словах.

– Ай-ай! За бутылку рома... Как смешно!

– А ром идет на пудинг, – пояснила Лиза.

– Только вы, дети, не попрекайте его происхождением, это нехорошо, – серьезно сказал Сперанский.

– А! наш славный историограф... Николай Михайлович Карамзин... отшельник, – быстро заговорил Державин.

– Где он? – спросил Сперанский.

– Вон идет с кем-то... не разберу.

– Да, с тех пор как он «постригся в историки», его нигде не видать... Точно схиму принял архивную.

Карамзин заметил Державина и Сперанского, повернул к ним, издали приветливо кланяясь.

9

Хотя Карамзину в это время было с небольшим сорок лет, но он казался много старше своего возраста. Усиленные литературные занятия в течение более двадцати лет, беспокойное, утомительное и трудное дело по изданию «Вестника Европы», в то время когда журнальное дело у нас было еще так мало налажено и когда, кроме литературного, исключительно художественного и ученого элемента, Карамзину приходилось вводить в литературу элемент политический; наконец, лихорадочная работа над «Историей российского государства», работа, поглотившая всего его, все силы его духа, мысли и фантазии, работа трижды египетская, когда не существовало еще никаких изданий старинных памятников, которых после смерти Карамзина изданы по наше время и правительственными, и частными усилиями буквально целые горы, и когда эти горы приходилось раскапывать в архивах, в пыли веков и среди могильной затхлости, и из целых гор выкапывать две-три исторических жемчужины – факта, когда не существовало ни описей библиотек, ни каталогов и когда, чтобы добыть и проверить то или другое историческое свидетельство, нужно было буквально открывать новый мир архивный и слепнуть и задохнуться в архивных склепах, все это не могло не отразиться на всем его существе, не могло не лечь преждевременными складками и тонкими, но неизгладимыми морщинками на его молодом, открытом и ясном лице, не могло не унести в архивный мрак и часть огня его глаз, и некоторую долю его живости, веселости, общительности. Чаше и чаще воображение автора «Писем русского путешественника» и «Бедной Лизы» отрешалось от действительности, от живой жизни, от светлого солнца, от живой зелени, от живых людей и уходило в могильную тишину исторического прошлого, к мертвым бумагам, к мертвым, давно забытым интересам, к мертвым, истлевшим, всеми забытым людям с их, как и они сами, истлевшими интересами, желаниями, горями и радостями. Вместо Наполеона в его душу стучался какой-нибудь неразгаданный «Якун слепой», вместо «Бедной Лизы» – гордая Рогнеда или истлевший череп с неистлевшею золотою косою Верхуславы, вместо Державина пел его слуху «Бонн вещей»... В концертах, на музыке он слышал, как чьи-то мертвые, костлявые персты из-за могилы на «живых струнах роко-таху»... В блестящих кавалергардах он видел «курян, конец копия вскормленных»... Устали глаза, устала память, устало воображение, а впереди еще так много работы – целые пирамиды бумаги, архивных дел, свитков... Можно высохнуть от этого, зачерстветь, душу превратить в пергамент...

– Вы совсем отреклись от мира, почтеннейший Николай Михайлович, с тех пор как «постриглись в историки», и вас нигде не видать, – сказал Сперанский после первых приветствий, когда пришедшие уже уселись на скамейку.

Карамзин улыбнулся, но ничего не отвечал.

– Да что от мира, ваше превосходительство! Наш почтенный историограф скоро, сдастся мне, и от пищи совсем откажется, – весело сказал его спутник. – Сегодня, в этакую-то дивную погоду, я нашел его в академическом архиве, где, кроме него и архивного кота, ни души не было... Да он, кажется, только с котом и может теперь объясняться, совсем разучился говорить с людьми... Прихожу сегодня я в этот склеп могильный, в архив, и вижу – Николай Михайлович ползает по полу и распускает какой-то ужасный свиток, на котором написаны разные неизобразимые каракули, и вижу – человек совсем помешался: глаза горят от восторга, а сам-то что-то бормочет... А на другом конце сидит маститый академик Васька, кот архивный, и тоже лицо его сияет восторгом: он тоже, кажется, сделал ученое открытие в подполье – целую семью молодых мышат...

Все рассмеялись, не исключая старика Державина и девочек. Соня даже в ладоши захлопала.

– Ах, Лиза, молодые мышата!

Этот веселый собеседник был Тургенев, Александр Иванович¹⁹, еще довольно молодой человек, но уже выдвигавшийся из толпы петербургской знати благодаря своим блестящим способностям и познаниям. Обращение его было мягкое, разговор легкий и игривый, а изящные манеры и костюм изобличали, что он не был скучен и в обществе хорошеньких женщин, и как находчив был по службе, в деле, в ученом разговоре, так не менее находчив и в салонной болтовне.

– А! говорю, здравствуйте, Николай Михайлович! Здравствуй, Василий Васильевич!

– Кто ж этот Василий Васильевич? – спросил Державин.

– Да Миофагов, выше высокопревосходительство.

– Какой Миофагов? Я не знаю такого.

– Да новейший подпольный историограф и академик, архивный кот Василий Васильевич Миофагов... Под этой фамилией ему ж суточные рационы отпускают по службе в академическом архиве.

Девочкам это очень понравилось.

– Слышишь, Лиза, в академии есть академик Васька-кот... Назовем и мы своего Ваську академиком Миофаговым.

– Нет, Соня, нашему Васе надо дать другую фамилию. Ведь наш Вася еще не академик...

– Так будет, он умный.

– Как же вам удалось вытащить из архива добрейшего Николая Михайловича? – спросил Сперанский.

– Да совершенно неожиданно... Знаете, говорю, какое тяжелое впечатление произвело на всех известие о поражении наших войск под Фридландом? А он мне на это: «Да, это, – говорит, – печально, только меня, признаюсь, больше печалит, что нет другого списка „Слова о полку Игореве“».

– Ну, уж вы сочиняете, – кротко возразил Карамзин, – я совсем не так выразился...

– Помилуйте! А не вы ли, когда я заговорил о свидании государя с Наполеоном в Тильзите, не вы ли сказали: «Меня, – говорит, – теперь больше занимает свидание Святослава с Цимисхием...» А?

Опять все засмеялись.

– Видите? Совсем от миру отведенным человеком стал... Вижу, что чем-то он доволен, весело гладит Ваську, и говорю: чему это вы радуетесь? Что открыли в этой могиле? «Якуна слепого» какого-то, говорит, нашел, да еще и с «златотканной лудой», и не понимаю, что это за «златотканная луда», да и того не могу, говорит, понять, как это «слепой Якун» мог предводительствовать войском... А я и говорю: «Пойдемте, – говорю, – к адмиралу Шишкову, он насчет этого старья собаку съел... Может, он, – говорю, – сам жил при „Якуне“ и видывал его... ну, и вытащил из архива».

– В самом деле, – серьезно сказал Карамзин, ни к кому не обращаясь, – меня смущает это место летописей наших: как «слепой Якун» мог начальствовать войском, а главное – лично участвовать в битве?

– А как же у чешских таборитов был предводителем слепой Жижка²⁰? – возразил Державин. – Он тоже лично участвовал в битвах.

– Так-то так, да все это меня не успокаивает, – спокойно говорил Карамзин. – Может быть, впоследствии историки и откроют, что Якун был не слепой, – заметил Сперанский.

¹⁹ Тургенев Александр Иванович (1785–1846) – служил в министерстве юстиции, принимал участие в комиссии по составлению законов. Сопровождал Александра I за границу. Помощник статс-секретаря в Государственном совете.

²⁰ Жижка Ян (1360–1424) – вождь чешских повстанцев-таборитов, участник битвы при Грюнвальде.

– Да, может быть.

– Область знания бесконечна... Бесконечно пространство и время, это так... но и пытливость духа человеческого также бесконечна... Теперь вы в недоумении от «слепоты Якуна», а может быть, лет через пятьдесят найдут наши дети и внуки, что он был вовсе не слепой, – найдут, быть может, и то, кто такие были эти варяги... Вон теперь мы долго ждали сведений о свидании государя с Наполеоном, а через пятьдесят лет, через сто, может быть, за тысячи верст можно будет слушать, что говорят отсутствующие... Могущество мысли человеческой безгранично, – задумчиво говорил Сперанский, глядя головку Лизы, которая стояла тихо, прижавшись к его коленям.

Старик Державин заснул, пригретый солнышком. Седая голова его как-то беспомощно опустилась на грудь, и ветерок играл его седыми волосами. И это – «певец Фелицы»! Грустно... так могуществен ум человеческий и так бессильно его тело... Грустно, грустно!

– Это дочка ваша? – спросил Карамзин после общего раздумчивого молчания.

– Да, моя Лиза, названная так в память вашей «Бедной Лизы».

Карамзин грустно улыбнулся, любуясь обеими девочками. Он вспомнил, когда писалась эта «Бедная Лиза». Как давно это было!

– А сегодня моя Лиза совсем «Бедная Лиза», – шутя заметил Сперанский.

– Почему же? – спросил Карамзин.

– Огорчил ее один мальчик-озорник... попрекнул происхождением.

– Тем, что она произошла от Адама и Евы?

– Да, только от семинариста.

– А тот мальчик разве не от этой пары прародителей производит себя?

– Должно быть.

– У него папа был негр, – удачно пояснила Соня.

Всем это очень понравилось, но Сперанский погрозил ей пальцем.

– А как ваша работа подвигается? – обратился он к Карамзину.

– Медленно, Михайло Михайлович, – кропотливая эта работа... Каждое пустое известие надо подкрепить, цитатой подковать.

– Да, этих гвоздей у вас много, так и пестрят страницы цитатами.

– Да чуть ли эти гвозди не больше весят, чем самые сапоги, – иронически заметил Тургенев.

– Что ж, и правда, – отвечал Карамзин скромно.

– Но какой язык у вас богатый! – говорил Сперанский. – Вы положительно творец нашего литературного стиля.

Карамзин предостерегательно показал на спящего Державина.

– Ничего, – успокаивал его Сперанский. – Ведь он не прозаик – поэт.

– А какие вести из армии и от государя? – спросил Карамзин, видимо, желая переменить разговор.

– Да вести не совсем утешительные... Уже одно то ново, что русских бьют, чуть ли не первый раз с начала нашей истории... так кажется?

– Нет, бивали не раз и прежде, – заметил Карамзин.

– В древнее время, может быть?

– Нет, и в последние два века: и поляки бивали, и шведы.

– Да... Но теперь, говорят, что не так бьет Наполеон, как свои же...

– Неужели? Кто ж это?

– Казнокрады, интенданты да подрядчики... Ну и бездарные вожди.

– Да, с таким чадушкой, как Наполеон, нелегко бороться.

– Пигмеям, – пояснил Сперанский.

– А государь что?

– Он, кажется, очарован новым цезарем после личного свиданья... Да и неудивительно – великий гений.

– Ох, сдается мне – плачущий крокодил, – заметил Карамзин.

– Да, но в слезах этих блестят перлы западной цивилизации, а не булыжник обскурантизма.

– Оно так, но цивилизация-то у него стоит на запятках, а не вместо кучера, – возражает Карамзин.

– Лучше, Николай Михайлович, если цивилизация даже на запятках, чем вместо кучера – капитан-исправник... Верьте мне, вы хорошо, лучше меня знаете русскую историю: когда-нибудь нам придется поплатиться за этого капитана-исправника перед всей Европой... Только тогда Россия будет безопасна от нового крестового на нее похода Европы, когда примет и усвоит себе формы жизни, которые рекомендует всему миру наука... Я скажу вам: *ne noblesse oblige, a civilisation oblige*²¹...

Сперанский говорил горячо, хотя тихо и ровно. Спокойное лицо его оживилось, глаза сделались добрее и красивее. Он много думал над тем, что говорил.

– России многого недостает, – продолжал он, – да, по правде сказать, она еще и не начинала идти этой обязательной для всего человечества дорогой... Даже и Петр на этом пути ничего не сделал, он больше думал о себе.

– Какой же это путь? – спросил Карамзин.

– Кажется, на этом пути с помощью Лагарпа²² и Сперанского Александр – хотел попробовать сделать первый шаг, – сказал как бы про себя Тургенев, глядя на взморье.

– Нет, – возразил спокойно Сперанский, – я только мечтаю об этом со своею подушкою... с Иеремию Бентамом²³...

– Это тот, что вы издали?

– Да. Бентам ищет такую форму человеческих отношений, которые дала бы «величайшее возможное счастье для величайшего возможного числа людей». А я мечтаю о немножко большем, чем это...

– Ах, папочка! Ты точно стихи говоришь! – наивно воскликнула Лиза.

– Да, стихи, моя дурочка! Это – поэзия директора департамента.

– Какие стихи? Кто стихи сочинил? – очнулся старик Державин. – Директор департамента?

Одно слово «стихи» будило старого поэта, как труба боевого коня.

– Да вы же сегодня декламировали мне вашу новую оду, – спокойно отвечал Сперанский.

– Да, но я вам конец не сказал... А конец этот пророческий...

– Что ж пророчит ваша ода, ваше высокопревосходительство? – любезно, но с открытой иронией спросил Тургенев, придвигаясь к старику. – Надеюсь, мой вопрос не нескромен.

– О нет! – отвечал старик, довольный, что его сажали на его коня. – Я думал так окончить свою оду:

Падет Европа на колени

²¹ Не положение обязывает, а цивилизация обязывает (*франц.*).

²² Лагарп Фредерик Цезарь (1754–1838) – швейцарский генерал, государственный деятель. В 1783 г. был приглашен Екатериной II в Петербург в качестве воспитателя и наставника вел. князей Александра и Константина. Он сумел привить будущему царю свободололюбивые взгляды, что сказалось на либеральных проектах Александра I, особенно в начальный период его правления.

²³ Бентам Иеремиа (1748–1832) – английский публицист и философ, идеи которого получили распространение во Франции и России. В России они нашли почитателей среди наиболее влиятельных людей того времени, такие, как Кочубей, Сперанский, Чарторыйский.

Пред тем, борьбу кто прекратит
И ток прольет в ней дней блаженных.
Се уж его орел парит!

– Прекрасно! Великолепно! Сейчас чуешь орлиный полет «Певца Фелицы», – заговорил Тургенев опять-таки не без скрытой иронии. – Но вот что скверно, ваше высокопревосходительство: галльский-то петух шибко поклевал, сказывают, нашего орла...

– А орел после совсем заклюет петуха! – горячился старик.

– Ну, это конечно... А что касается Европы, то сначала, когда наш орел заклюет петуха, это точно, она падет перед орлом на колени, а как оклемают маленько, то и закричит на него: «кш-кш!»

– Как это, государь мой?

– Да коленкой нас.

– Нет, государь мой, этому не бывать.

Старик волновался. Частое повторение «государь мой» – явный признак этого волнения.

– Не спорю, не спорю, ваше высокопревосходительство, – оправдывался Тургенев, очень хорошо знавший упрямство самолюбивого старика. – Что касается наших воинов, то они готовы в супе съесть галльского петуха. Я получил сегодня из Тильзита письмо... знаете от кого? – обратился он к Карамзину.

– Не знаю. От кого?

– От вашего... то бишь, от нашего земляка – симбирца. Ведь знаете, милостивые государи мои, кому Россия обязана Карамзиным? Изволите знать, государи мои?

– Что это вы нас сегодня все экзаменуете, Александр Иванович? – спросил Карамзин.

– Да, точно, экзаменую. Когда впоследствии на экзаменах будут вопрошать российское юношество: «Кому Россия обязана тем, что у нее оказался свой тацит – Карамзин?» – российское юношество должно будет ответить: «Россия сим обязана родителю Александра Ивановича Тургенева, бригадиру Ивану Петровичу Тургеневу, который в Симбирске открыл Карамзина, как Колумб открыл Америку, и вытащил его из захолустья в Москву, где юный симбирский дворянин, будущий творец „Бедной Лизы“ и будущий, а ныне налицо сущий историограф и проявил свой гений». Правда это? – обратился он к Карамзину.

– Правда, – отвечал тот. – Вашему батюшке я обязан тем, что я не заглох в провинции в качестве степняка и любителя псовой охоты.

– Помните это, дети, – комично обратился Тургенев к девочкам.

– Я не забуду, что дядю Карамзина открыл в Симбирске ваш папа, – серьезно сказала Лиза.

– И я не забуду, – повторила за ней Соня, – Америку открыл Колумб, а дядю Карамзина ваш папа... А дедушка Державина кто открыл? – наивно спросила она.

Все засмеялись, но Державин торжественно прибавил:

– Меня открыла великая Екатерина!

– Да, это счастливое открытие действительно принадлежит гению Екатерины, – сказал Карамзин.

– А тебя, папа, кто открыл? – неожиданно спросила Лиза отца.

Это было выше всякого ожидания. Даже старик Державин не выдержал:

– Ах, умница! Ах, крошечка! – говорил он, кашляя. – Иди, я тебя расцелую... Твоего папу открыл сам император Александр Павлович... Он нашел сие жемчужное зерно...

– В куче навоза... в семинарии, – пояснил Сперанский.

– Так кто же этот наш земляк и что он вам пишет из Тильзита? – обратился Карамзин к Тургеневу.

– Это Давыдов Денис Васильевич, адъютант Багратиона, сызранец... Между прочим, он пишет (и Тургенев достал из кармана письмо): «Если Наполеону и удалось обворожить государя, то офицерам французским обворожить нас не удастся, как они ни стараются делать нам глазки, точно барышням: мы остаемся медведями. По тайному наказу Наполеона они хотят нас, видимо, влюбить в себя всякими приветливостями и вежливостями, и мы им отвечаем тем же: но дальше этого – ни-ни! Подобно деревенским девкам: „языком болтай, а рукам волю не давай“. И мы, и они, все мы чувствуем, что меж нами уже встал дорогой труп, который говорит: „Я жду венка на мой гроб: а венок сей: штык в крови по дуло, нож в крови по локоть“».

– О! это ужасно! – невольно вырвалось у Сперанского.

– А вот тут он приписывает: «Общее возбуждение таково, что нам даже от детей нет отбою – все просятся в войско: своим примером Наполеон заразил весь мир. Ходит даже слух, что во всех наших последних кровавых битвах принимала участие – кто бы вы думали? Кто бросался в огненные свечи? – девочка!..»

– Девочка! – с восторгом воскликнули в один голос Лиза и Соня.

– Да, мадам, девочка – вот такая, как вы, с такими же глазами, и стреляла этими глазами, и убивала наповал...

– Ах, Лиза, пойдем и мы.

– Пойдем, только с папой и мамой.

– Вот это умно! – засмеялся Тургенев.

– Имени этой девушки не называют? – спросил заинтересованный Карамзин.

– Нет, хотя догадываются.

– Вот находка для будущего историка – российская Иоанна д'Арк, – сказал Карамзин.

– Какое Иоанна! Просто Анюта или Лиза, – засмеялся Тургенев.

– А может быть, Соня, – вступилась эта последняя за свое имя.

– Ну, будь по-вашему! Она – Лиза-Соня, как Петры-Павлы. Только Давыдов пишет немало интересного и насчет наших солдатиков – это настоящие герои! «При осмотре наших войск, – пишет он вот тут дальше, – Наполеон пожелал видеть храбрейшего из наших богатырей. Вызывают первого по ранжиру – Лазарева: детина ражий, рослый, плечи в косую сажень, на груди хоть горох молоти, а рыло доброе, младенческое, и в глазах детская доброта и ясность. Наполеон даже отступил в удивлении: „О! C'est un Mars!“²⁴ – невольно воскликнул он, не веря, что с такими детски добрыми глазами этот великан пронизывал ветеранов его старой гвардии штыком по дуло. А Лазарев стоит, руки по швам, и то на Наполеона посмотрит с удивлением, сверху, словно с горы на ребенка – Наполеон ему чуть не по пояс, – то с любовью и благоговением покосится на государя, у которого на лице все время играла ангельская, радостная улыбка. Наполеон снимает с себя крест Почетного легиона и собственноручно (увы! Привстав на цыпочки...) вешает его на грудь великану, который при этом нагибается к великому Бонапарту, словно девочка к кукле...»

И Лиза и Соня при этом даже в ладоши захлопали от радости.

– Но слушайте! Слушайте! – продолжал Тургенев: «А великан и говорит: „А Заступенке, ваше превосходительство?“ (Наполеона он не хочет, как видно, признавать императором – не говорит: „ваше величество“, а просто – „ваше превосходительство“). „Заступенок, – говорит, – ваше превосходительство, что ж? Он храбрее меня“. – Наполеон не понимает. – „Какому Заступенке?“ – с удивлением спрашивает государь. – „Однокашнику моему, ваше императорское величество, – Охремий Заступенко; локоть в локоть стоим завсегда и деремса локоть в локоть: коли я не заколол француза, он заколет; коли он не доколол, я доколю...“

²⁴ Это Марс! (франц.).

Император милостиво смеется невинности этого наивного младенца и говорит, чтоб он не беспокоился о своем друге, что и его не обойдет царская награда...»

– Да, это истинное геройство, – задумчиво говорит Карамзин.

– Больше, чем геройство, Николай Михайлович: это – высочайшая человечность, – замечает Сперанский. – Она только и живет в младенце-народе.

– Давыдов еще выше это понимает. Он пишет, что, узнав русского солдата, он находит, что на него «молиться надо»: «Это боги, говорит, а не люди», – прибавил Тургенев.

– И этих богов мы истребляем безжалостно! – с горечью заметил Сперанский, которому вспомнилось при этом свое собственное детство, беганье босиком среди того самого народа, из которого вышли эти боги... И все они остаются бедными, жалкими, беспомощными, – а вот он, попovich, звонарское семя, отбившийся от народа, он, поросль от племени Левита, стоит уже на миллионах этих божественных голов... высоко, высоко стоит, так что и не видать ему этого народа, не видать серой массы с серыми лицами... Ах, если б эти младенческие головы, эта брызги серого моря народного не пропадали... А они пропадают на чужих полях, далеко от родной сохи...

А под чтение письма и тихий разговор старик Державин мирно всхрапывает.

– «Потом, – продолжает читать Тургенев, – дан был общий обед батальону старой французской армии и батальону наших преображенцев. И вообразите: сидят сии дети-великаны за столами попеременно с французскими усачами-гренадерами, кушают с серебряной посуды, дружески чокаются стаканами, не понимая друг дружку, меняются своими шапками – то наш богатырь наденет на французского усача свой кивер, то француз-усач наденет на нашего великана свою меховую шайку. А дале уж и обнимаются, и целуются – друзья закадычные стали. А дальше... и под стол валились, обнявшись, да так друг на дружке и засыпали, словно на поле битвы, мертвые, в объятиях друг у друга...»

– Это ужасно, ужасно! – шепчет Сперанский. – И такие люди погибают!

А Державин продолжает тихо похрапывать... Грезятся старику его молодые годы, его ясные оченки, русые кудерюшки, резвы ноженьки... А теперь эти ноженьки едва бродят и все зябнут... Вон и теперь, на летнем солнышке, он дремлет в теплых бархатных сапогах, словно старая солопница... И грезится ему широкое поле, а на этом поле движутся массы народа, несут кресты, церковные хоругви, венки, перевитые цветами и лентами... И гробовую крышку несут, а на крышке огромный лавровый венок с надписью... Что это? «Певцу Фелицы!..» На подушках ордена несут, звезды... И поют так величественно, внушительно: «Воду прошед яко суше и египетского зла избежав...» Кто же в гробу лежит?.. Да это он сам, только с мертвым ликом – это Державин-поэт... А над полем неумолчно звучит какой-то неведомый голос, покрывающий погребальную канту хора:

О ты, пространством бесконечный
Живый в движеньи вещества...

А другой голос еще громче, громче трубы архистратига, кто ее слышал, возглашает:

Ты бог, ты царь, ты раб, ты червь!

Старик вздрогнул и проснулся.

10

В это время по шоссе, ведущему от Крестовского острова к Елагинскому пуэнту, показалась большая желтая четвероместная коляска, которая, подъехав к прочим экипажам, стоявшим у пуэнта, остановилась, а из нее вышли две дамы, сопровождаемые ливрейным лакеем. Обе дамы были уже немолодых лет и обе в трауре: белые, нашитые на черные платья полоски, выражающие человеческое горе, бросаются в глаза очень издалека. Белые полоски, плерезы, слезные обшивки выражают не простое горе, но горе специальное, горе, причиненное смертью близкого лица... Горей человеческих так много, и качества их так разнообразны, что если б и к ним принято было применять особую форму внешнего выражения, особый значок, то ни значков, ни цветов, ни красок для этого в природе не достало бы... Одной смерти дана привилегия кричать издали белой нашивкой на черном платье... Всяким остальным горям человеческим оставлено одно место для своего выражения и обнаружения, одна страничка для траурной рекламы – поверхность лица человеческого, на котором печатают в траурных каемках свои объявления и голод, наводящий худобу и бледность на лицо, и разбитые надежды, и безысходное отчаянье, и беспросветная тоска...

Но эти белые полоски на платьях, привезенные на пуэнт, кричат о чьей-то смерти... Хотя в то время тяжелая рука Наполеона успела рассеять этих белых полосок по лицу всей Европы тысячи и десятки тысяч, хотя та же рука начала обшивать тысячами полосок и русские платья, и обшивает их вот уже несколько лет, так что белые полоски начинают уже рябить в глазах по всей России, однако зачем им появляться в местах общественных гуляний? Их место по церквам да по кладбищам, а не на аристократическом пуэнте...

Оттого все глаза отдыхающего и гуляющего пуэнта и обращены на вышедших из коляски дам с белыми полосками. Что это? – Нищий на званом обеде? Звуки балалайки в церкви? Гроб не на своем месте?..

Одна из дам – высокая, смуглая брюнетка, о возрасте которой громко кричат те же белые полоски, которые не на платье, а в волосах, – эти серебряные бичи, эти плерезы, которыми время, и горе, и думы, и страсти обшивают голову человеческую, белыми змейками перевивают волосы – это седина, плерезы молодости, траур жизни... Все волосы этой дамы перевиты серебряными полосками – это сплетаются жизнь со смертью, старость с молодостью. Как много в волосах этой дамы серебряных нитей! Словно кукол, словно сорные травы времени, скоро заполнят всю голову, вытеснят с нее последний черный волос, напоминающий молодость, как засохший и выдохшийся цветок в книге напоминает весну... Но она, эта высокая, седая дама, ступает бодро...

Другая – меньше ее ростом, и хотя время еще не осыпало ее голову серебром и снегом, зато провело по лицу какие-то черты и резы, говорящие о прошлом, как египетские иероглифы говорят о прошлом Нильской равнины... Да, и это живой саркофаг, которому место не здесь, не на пуэнте...

Не глядя ни на кого, дамы эти прямо направляются к той скамейке, на которой сидят Сперанский, Карамзин, Тургенев и где за минуту перед этим дремал Державин. Эти последние при приближении дам, заметив странность их появления и что-то особенное в выражениях лиц, невольно встают со скамейки и сторонятся.

Высокая, седая дама подходит к скамейке и становится перед нею на колени. Затем она нагибается к земле и что-то ищет на песке. Что она потеряла?.. Осмотрев следы ног на земле, оставленные сидевшими там, в том числе и неуклюжие следы бархатных сапог Державина, странная незнакомка с горьким, скорбным упреком посмотрела на Державина.

– Это вы затоптали следы его ног, безжалостные! – тихо сказала она.

– Чьи следы, сударыня? – с удивлением спросил Державин.

– Его, моего Сержа... Он еще вчера сидел здесь со мною... О Боже мой!

– Здесь, сударыня, и другие сидели... Наконец, всякие следы сметает сторож, как и время, – оправдывался Державин.

– Да, время... время все сметает, и его смело раньше меня, а меня оставило... Но его не время смело, а пуля... злодейская рука изверга.

И она снова нагнулась к земле, снова искала следов.

– Нет их, нет... где же они, о, мой бог! Мой бог!

Подходят и другие посетители пуэнта к тому месту, где происходит эта непонятная сцена, спрашивают друг друга: что это такое? Кто эта дама? Что она ищет, что говорит? Дети смотрят с боязнью и жалостью.

– Папа, – шепчет Лиза Сперанскому, – зачем она ищет следы? Чьи следы?

– Не знаю, милая, – должно быть, следы любимого сына.

– А где он?

– Судя по ее словам, убит.

– А кто он?

– Не знаю, мой дружок... Видно несчастная потеряла рассудок с горя.

– Пойдем отсюда.

Сумасшедшая поднялась с колен, бессознательно глянула по сторонам, как бы ища кого-то, и приблизилась к спуску, уложенному камнями и ведущему к Невке. За ней неотступно следовали другая дама и лакей.

– Ты куда, Надина? – спросила последняя.

Сумасшедшая остановилась у спуска и глядела на воду.

– Вот здесь он бросал камушки в воду, когда был маленький еще и играл здесь... Это было так недавно... вчера, кажется... Да, недавно... на воде еще следы в тех местах, где падали камушки... я вижу их... А ты видишь?

– Нет, милая Надина, не вижу.

– А я вижу... На воде еще есть его следы, а на земле уже нет и следа... О, проклятая земля! Проклятая! зачем создана ты, могила ненасытная! Тебя называют прекрасною землею, а ты мрачная могила, кладбище, кладбище ненасытное! Как жадный обжора, ты вскармливаешь людей не для их счастья и довольства, а для своей прожорливой пасти... О, проклятая, безжалостная!

Она замолчала и внимательно смотрела на воду, над поверхностью которой скользили ласточки, гоняясь за невидимыми для глаз мошками. Толпы гуляющих, опечаленные видом чужого страдания, заметно редели.

Вдали послышался веселый детский смех, и знакомый уже нам голос маленького Саши Пушкина:

Стрекочущу кузнецу...

– Слышишь? Это его смех! – говорила несчастная, радостно восторженно встрепенувшись. – Нет, не его... Он теперь не смеется – оттуда не слышно было и стонов, а где же слышать смех?

Увидев на зеленой опушке спуска лиловый колокольчик, она сорвала его и стала рассматривать.

– Он тогда нарвал их целый букет... Это те самые цветы – в чьи чашечки смотрели его глаза... А теперь эти глаза навеки закрыты... Это он закрыл их, он, безжалостный людоед... А у него есть сын?

– Есть, маленький.

– О! так Бог покарает его в его сыне... Его проклянут матери, у которых отнял детей его отец-людоед... Своими проклятиями они заразят воздух, воду, землю, ветер, свет солнца,

его собственную кровь... В каждом луче солнца на него будет изливаться зараза. Где ступит его нога, из земли будут выползать мохнатые тарантулы, шипящие змеи и ядовитые жабы и будут кусать его ноги...

– Перестань, Надина, грешно это...

– О нет, не грешно... Дай мне извергнуть из себя этот яд, который мешает моей печали, моим слезам... Да, да, проклятие ему, проклятие матерей!.. В каждой капле воды он будет пить яд – слезы несчастных матерей.

В каждом куске хлеба будет сидеть его отрав... Поцелуй отца найдет на него проказу, как он сам проказа земли... Для его дыхания нет другого воздуха, кроме смрада трупов... В глазах у него день и ночь будут стоять тени убитых им, и он вечно будет слышать стон и плач... А когда он сам захочет плакать, у него не будет слез, и вместо слез будет сочиться кровь... О! Самая мучительная жажда – жажда слез, когда они выплаканы и глаза засохли, как земля без дождя... Я выплакала свои слезы, и мои глаза пересохли, как земля в бездождие...

В группе гуляющих, недалеко от того места, где причитала безумная, послышался плач ребенка. Он давно уже, выдвинувшись вперед, напряженно следил за всеми движениями и словами несчастной женщины. Это был довольно рослый и здоровый мальчик, хотя ему было всего около пяти лет, и он смотрел не по-детски серьезно. При последнем безумном монологе сумасшедшей он подошел к ней еще ближе, силясь заглянуть ей в лицо, в глаза, и когда та с тихим стоном проговорила, что ее слезы все выплаканы и глаза пересохли, – мальчик громко заплакал.

– Ах, бедный Вася Каратыгин испугался, – заговорили дети.

Мать бросилась к нему, обхватила его.

– Ты чего? Не бойся, дружок, – шептала она.

– Я не боюсь... Мне жалко ее... Она все слезы выплакала...

И ребенок снова заплакал. Безумная, услышав его плач и слова, быстро обернулась к нему, и по лицу ее пробежало что-то вроде сознательной мысли, какой-то свет, сгонявший тени со смуглого, словно застывшего лица... Она рванулась вперед, раскрыв руки словно для объятия, и прежде чем Каратыгина успела отвести ребенка, безумная страстно обхватила его курчавую головку.

– Тебе жаль меня, мой ангел... О, добрый, милый!.. И у него такая же кудрявая головка была... о Боже мой! – бормотала безумная, целуя голову ребенка.

Мальчик стоял смирно, продолжая всхлипывать.

– Вот и ты плачешь? – сказал он, поднимая с удивлением глаза на безумную. – Слезы воротились?

– Да, мой ангел, воротились, мне легче, – отвечала она.

Несчастная действительно плакала – слезы не все были выплаканы. Со слезами к ней вернулся и рассудок. Она взглянула на мать Каратыгина и сквозь слезы проговорила:

– Ради бога, простите меня... Я испугала вас... Горе помутило мой рассудок...

– Нет, нет, – отвечала Каратыгина, – я глубоко сочувствую вашему несчастью... Бог да поможет вам.

– Он в лице вашего ребенка облегчил мне душу... Я благословляю ваше милое дитя...

И плачущая женщина, перекрестив маленького Каратыгина, молча пошла к своей коляске, сопровождаемая своею спутницею и лакеем. Скоро коляска скрылась из глаз.

Маленький Каратыгин разом сделался центром общего внимания. Его окружили, ласкали, спрашивали, кто такая была эта странная женщина в трауре, но никто на это не мог ответить.

– Сейчас видать будущего Гаррика: разом овладел общим вниманием, – сказал подошедший к Каратыгиной Крылов, Иван Андреевич, баснописец, глядя мальчика по голове и здороваясь с его матерью.

Крылову в это время было лет под сорок, но он уже гляделся довольно грузным мужчиной и подавал большие надежды на ожирение. Жирные губы, жирные щеки, пухлые руки, медленная походка и медленная речь, все это изобличало в нем медвежью мешковатость. Философское равнодушие к внешности сказывалось в небрежности костюма, который был потерт и засален. Волосы его были напудрены по тогдашнему обычаю, но так неискусно, что Тургенев утверждал, будто Крылова причесывает и пудрит повар в трактире Палкина мукою, остающейся от вареников, до которых баснописец был большой охотник. Вообще это была олицетворенная лень, небрежность и рассеянность, и Тургенев уверял, что Иван Андреевич, по рассеянности, мог обедать в день три и четыре раза и за столом сыпал соль в чужую тарелку, а вместо себя утирал салфеткою соседа или у него же чесал ногу, как чесалась своя. Но глаза Крылова смотрели живо, весело и лукаво, и когда ему замечали относительно лукавства этих глаз, он отвечал: «Да это не мои глаза, а воровские: их мне один интендант подкинул».

Мать Каратыгина была молоденькая, белокуренькая, застенчивая барынька, с лицом необыкновенной белизны; эта необыкновенная белизна была причиною того, что по воле патриарха тогдашнего театра, знаменитого Дмитриевского²⁵, Каратыгина на сцене называлась Перловой. Пятилетний Вася, будущий трагик Каратыгин, был ее вторым сыном. С детства он любил слушать, как его отец и мать разучивали и репетировали свои роли, и когда Вася после какой-нибудь трагической или злодейской роли начинал бояться своего отца, буквально понимая его роль, то родители очень смеялись над ребенком и называли его «простодушным райком».

– Гарри, Гаррик, – продолжал Крылов, теребя мальчика за пухлый подбородок.

– Нет, Иван Андреевич, он у нас «простодушный раек», – отвечала, смеясь, Каратыгина.

– Как «простодушный раек»?

– Да вот недавно шла на сцене драма покойной императрицы Екатерины Алексеевны – «Олегово правление». Я играла Прекрасу, а Вальберг – Игоря, моего жениха. Вася был на репетиции, видел игру, понял все буквально, как в райке понимают пьесы, да так приревновал ко мне Вальберга, что во время самого патетического нашего объяснения закричал на весь театр: «Мама, мама! Не выходи за него: он женат».

Рассказ этот вызвал общий смех, который таким резким контрастом звучал после горьких причитаний несчастной женщины. Особенно Крылову понравился рассказ Каратыгиной о маленьком Васе.

– Ай да Вася! Вот так критик сценический! – смеялся он. – Но как он ловко усмирил эту таинственную незнакомку! Он принял ее проклятия за монолог на сцене.

– Я сама видела, как он ее чрезвычайно внимательно слушал, и думал то же, – сказала Каратыгина.

– А ты, Вася, как думаешь? Актриса она? – спрашивал Крылов.

– Кто? – спросил ребенок.

– Та дама, в черном.

– Актриса.

– А почему ты так думаешь? – допрашивал он, едва удерживаясь от смеху.

²⁵ Дмитриевский Иван Афанасьевич (1734–1821) – знаменитый русский актер. Руководил театральным училищем, благодаря его усилиям был создан «Вольный русский театр». Преподавал географию, историю, словесность в Смольном монастыре. Носил звание первого актера, но выполнял также и режиссерские обязанности. Последний раз играл на сцене 30 августа 1812 г. в патриотической пьесе Висковатого «Всеобщее ополчение».

– Она на Дмитревского похожа, – отвечал мальчик.

– Как на Дмитревского?

– Да, на Дмитревского, на «Эдипа-царя». Мне и его было жаль.

Опять общий смех. Не смеялся только один юноша, молодой, очень молодой человек, на вид не более восемнадцати-девятнадцати лет, но не по летам молчаливый и сосредоточенный. В лице его есть что-то южное, даже более – что-то цыганское, но только смягченное какою-то словно бы девическою застенчивостью и глубокою вдумчивостью, робко выглядывающею из черных, вплотную черных глаз, точно в них был один зрачок без роговой оболочки. Он стоял с кем-то несколько поодаль и задумчиво глядел на маленького Каратыгина. При последних словах мальчика, когда все засмеялись, этот цыгановатый юноша заметил как бы про себя:

– А какой глубокий ответ, хоть бы и не для ребенка.

– Вы что говорите? – спросил его сосед, молодой человек, почти одних лет с цыгановатым юношей, с черными бегающими глазами и большими, негритянскими губами.

Цыгановатый юноша был Жуковский, Василий Андреевич, начинающий поэт, которого товарищи за робость и скромность, а также за меланхолическое настроение его позиции называли «нимфой Эгерией». Сосед его был Греч, Николинька, юркий и смелый молодой человек, слывший в своем кружке под именем «Николаки Грекондраки».

– О чем говорит нимфа Эгерия с Нумой Помпилием? – повторил Греч, трогая Жуковского за руку.

– Да вот вы слышали, что сказал этот мальчик? – отвечал он.

– Слышал. А что?

– Он сказал величайшею похвалу Дмитревскому и глубокую истину, какой никто еще не сказал о нашем маститом артисте. Этот ребенок сказал, что та обезумевшая от горя женщина похожа на Дмитревского в «Эдипе». Я смотрел на эту женщину внимательно: на лице ее застыло мрачное отчаянье, она не играла роли. А мальчик своим детским чутьем – это чутье или гения, или будущего трагика – он чутьем уловил сходство между этой безумной и Дмитревским; он этим доказал, что Дмитревский, играя «Эдипа», страдающего от мести Эвменид, велик в игре, как велико отчаянье той женщины, что мы здесь видели.

– Да, ваша правда, – согласился Греч.

А Крылов приставал к мальчику, допрашивал его:

– Ты чем хочешь быть, Вася? Хочешь быть актером – Дмитревским?

– Нет, не хочу.

– Отчего?

– Я не хочу быть слепым.

– Как слепым?

– Слепым Эдипом.

– А чем же ты будешь?

– Наполеоном.

– Вот тебе на!

– У меня и сабля есть, и ружье папа купил...

– Ну, пропал Божий свет! Наполеон всех сделает солдатами и, нарядив шар земной в мундир старой гвардии, опоясав его шарфом по экватору, посадит землю на Пегаса с ослиными ушами и пошлет ее воевать с солнцем. А победит солнце, завоюет свет – вот мраку-то напустит на вселенную! Ах, он проклятый корсиканец! Да эта, хоть ложись и умирай, капустным листом прикрывшись, – говорил Крылов уже серьезно.

А в это время Сперанский, возвращаясь с пуэнта вместе с Карамзиным и Тургеневым, был остановлен одной молоденькой дамой, которая все время находилась в обществе каких-то иностранцев, по костюму – французских эмигрантов, и вела с ними оживленную, на фран-

цузском языке, беседу. Постоянно слышались слова: «янсенизм», «католицизм», «святой отец», «богословская критика», «ортодоксальность», «восточная церковь». Цитировались богословские книги, слышались имена: Вольтер, Флери²⁶, шевалье д'Огар, граф де-Местр²⁷.

Дамочке было лет двадцать пять. Она смотрела очень бойко, говорила увлекательно, с примесью наивного педантизма. Маленькие, под длинными ресницами голубые глаза постоянно, кажется, что-то обещали сказать или выдать еще что-то, но не договаривали, не выдавали всего.

Это была Софи Свечина, жена старого генерала, который смотрел старым колпаком, надетым на женину туфлю. Он слушал жену, разиня рот, и постоянно кивал головой в знак согласия и одобрения: казалось, он слушал Евангелие, и каждое слово, вылетающее из хорошеньких уст жены, он глотал не жевавши, словно бы это были кусочки от тех пяти хлебов, которыми Христос накормил пять тысяч своих слушателей. Софи Свечина, на жадное самолюбие которой действовали ловкие католические патеры и разные шевалье, эмигрировавшие от французской революции в гостеприимную Россию, и в особенности знаменитый фанатик-шарлатан и ханжа граф Жозеф де-Местр, в это время быстро скользила по наклонной плоскости своего самолюбия в пропасть католицизма, подталкиваемая сладкоречивыми аббатами и пустомелями, эмигрантами, а муж, глядя на нее, млел и благоговел, как благоговел бы, если б его хорошенькая Софи не только скатилась в широкую пазуху святого отца, но и попала, при помощи Магометовой кобылицы... в рай пророка, лишь бы захватила с собой и свой старый колпак.

Свечина подвела к Сперанскому какого-то черномазого еврея, который и своими еврейскими глазами, и халдейскими манерами, и ханаанским языком так и забирался в душу и в карман всякого, на кого смотрел и с кем говорил.

Еврей этот выдавал себя за итальянца, по профессии доктора.

– Позвольте, мой добрый и великодушный Михаил Михайлович, представить вам доктора Сальватори, из Москвы, – сказала Свечина, подводя к Сперанскому еврея-итальянца. – Услыхав здесь ваше имя, мосье Сальватори пришел в большое волнение.

– Ваше славное имя стало достоянием Европы, – засластил еврей. – Меня привело к вам глубокое удивление и благоговение к вашей деятельности.

Но слащавый поток этот был остановлен неожиданным обстоятельством. Курчавый арапчонок, Саша Пушкин, заметив, что няня его, усевшись на дерн около дорожки, по которой проходил Сперанский и был остановлен Свечиной, совершенно углубилась в вязанье своего бесконечного чулка, быстро разбежался и, на бегу декламируя из «Дмитрия Донского» Озерова (он тогда был у всех на устах) —

Спокойся, о, княжна! Победа совершенна!

Разбитый хан бежит, Россия свободенна, —

перескочил через голову старухи, сбил с этой головы повязку и растянулся у ног озадаченного Сальватори.

Лиза и Соня захлопали в ладоши, а ошеломленная старуха, схватив маленького разбойника за ухо, приговаривала:

– Вот тебе княжна! Вот тебе княжна!

²⁶ Флери Андре Эркуль (1653–1743) – кардинал, государственный деятель Франции. Учился у иезуитов. Являлся воспитателем дофина, вступившего на престол под именем Людовика XV. С 1726 г. Флери возглавлял французское правительство.

²⁷ Местр Жозеф (1754–1821) – граф, государственный деятель королевства Сардинии, дипломат. В 1802–1817 гг. в качестве полномочного посланника находился в С.-Петербурге. Придерживался реакционных взглядов, участвовал в деятельности Священного союза.

11

– Уж и бог его знает, что выйдет из этого ребенка, матыньки мои, я и ума не приложу! – жаловалась няня Пушкина другим нянькам, собравшимся с Каменного и Крестового островов на Елагин, чтобы наблюдать за играми своих барчат, а главное затем, чтобы посудачить насчет своих господ. – Уж такой выдался озористый да несутерпчивый, что и сказать нельзя – моченьки с им нет! Минутни-то он не посидит смирнехонько да тихохонько, как другие, а все бы он властвовал да короводил в мёртву голову, да выдумывал бы непостижимое... И ничего не скажи ему, все зараз подавай – вынь да положь, хучь бы это была тебе Жар-птица. Скажешь ему эту сказку – а сказки страх любит, сказкой только и смиряю его, – скажешь сказку, а он ее и примет вправду, да и ну над душой нудить: «Покажь, няня, Жар-птицу», «Найди, няня, цвет папоротника», «купи мне, няня, шапку-невидимку» – и пошел, и пошел нить... И сна-то, и угомону нет ему... Лежит это ночью в постельке, – ну, думаешь, слава богу, чадо-то умаялось, уснуло, – ан нет! Лежит и болтает: «А ты, няня, – говорит, – была у лукоморья – видала тот дуб зеленый да кота ученого, что мне сказывала?» – так вот меня варом и обдаст... А то покажи ему Черномора, вынь ему да положь все, что в сказке сказывается... А то заберет себе в голову сам искать да доискиваться: где, вишь-то, конец свету? Кто, Расскажи ему, звезды ночью зажигает? Как это, вишь, облака бегают по небу?.. А раз возьми да и поди ночью в лес – мы в ту пору в деревне жили – и поди он в лес искать русалок да так и уснул там у реки, и уж утром рыбаки нашли его там и привели к барыне; а я со страху-то, когда спохватилась утром, чуть руки на себя не наложила – долго ли до греха! Вить мне, холопке, и в Сибири бы, поди, места мало было...

– Что и говорить! – подтверждали другие няни. – Шутка ли! Господское дите тоже, барчонок, – за это нашу сестру не похвалят.

– Уж такой-то озорник, что, кажись, другого и на свете такого нет...

Так вот и думается, что не сносить ему своей головы – сущий Палион! Да и быть ему Палионом... Как вырасту, говорит, да достану, говорит, коня богатырского за двенадцатеры запорами, да добуду, говорит, меч-кладенец из-под мертвой головы богатырской – и пойду, говорит, на Палиона один на один, как Илья, слышь, Муромец на Соловья-разбойника... Ну и быть ему гвардейцем – и сложит он там свою головушку буйную... А не скажу, чтоб зол был, али бы не любил меня – нет! Души во мне, старой, не чает: что бы это у него ни завелось – деньги там либо сладкое что – зараз ко мне тащит: «На, – говорит, – нянюля, тебе, – возьми это, кушай, моя старенькая...» Уж такое-то ласковое да приветливое дите... А задурил – ну, и полком его, кажись, целым не покоришь – и везде-то он набольший... Ван и теперь там командует всеми, и большими, и маленькими, что твой Суворов.

И кудрявый арапчонок действительно командовал. Весь детский хор покрывала его декламация из Третьяковского, которого он, кажется, знал наизусть. Слышно, как он напыщенно скандирует:

С одной стороны гром,
С другой стороны гром!
Страшно в воздухе!
Ужасно в ухе!

– А теперь вот, как побольше стал, пришла ему блажь книжки читать – все книжки у барина перетаскал. Готов всю ночь напролет читать! Уж мы ему и свечей не даем на ночь, – так ухитрился: говорит, что без огня боится спать, чертей, слышь, видит и с чертями разго-

варивает, – ну и зажигаем лампадку. А ему это и на руку: скукожится под лампадкой и читает. Уж и бог ведает, что это за дите!

– Порченное, поди, – замечает одна няня.

– Нету, в горячей воде маленького купали – от того, – глубокомысленно объясняет другая.

– Что ты, мать моя, клеплешь на меня! – ошетибилась няня Пушкина. – Али я молоденькая! Сама его купывала: знаю, чать, какая вода полагается.

– А какая?

– Знаю какая... поди такая, в какой вы своего немчуру купывали.

– Какого немчуру? – огрызается та нянька, что сказала, будто Сашу Пушкина купали в горячей воде.

– Да вашего Сашу – Ведьмина, что ли...

– Наши господа не Ведьмины, а Вельтманы, – защищается нянька Вельтмана.

– Ну, не все ли едино! Ведьмины – Ведьмины и есть! Вон он у вас какой...

– А какой?

– Ни кровинки в ем нет, словно он пеклеванный – дигиль как есть! А наш-ат кровь с молоком.

Няньки чуть было окончательно не перессорилась из-за своих барчат. Действительно, няня Пушкина была права: маленький Вельтман смотрелся совсем пеклеванным, бескровным мальчиком, постоянно задумывался, был рассеян и не обладал живостью в играх, так что в сравнении с ним Саша Пушкин был орел перед белым голубем. Кюхельбекер тоже уступал в живости и огненности Пушкину, и только Грибоедов, который, впрочем, был старше Пушкина года на четыре, побеждал иногда и словом, и делом беспокойного и находчивого арапчонка.

Как неожиданно вспыхнула было война между няньками, так неожиданно и прекратилась она, – и все по вине неугомонного Саши Пушкина. Он, оставив других детей, которыми все время верховодил, влетел в сонмище нянек, словно ошпаренный, и накинулся на свою старуху.

– Что ж ты мне, нянька гадкая, не показала Державина! – вдруг озадачил он ее.

– Какого, батюшка, Державина?

– Да Державина! Он тут, говорят, был.

– Да я никакого такого Державина не знаю: знать не знаю, ведать не ведаю.

– Да он же, говорят тебе, сидел рядом с папой Лизы Сперанской.

– Что ж из этого, батюшка, что сидел?

– Как же ты мне не показала его!

– Ох, Владычица! И что я буду делать с этим ребенком! – взмолилась старуха. – То ему подай Жар-птицу, то шапку-невидимку, а теперь – на поди! – подай ему какого-то Державина, прости господи!

– Да шапка-невидимка, няня, в сказке, а Державин не шапка в сказке – он живой, он тут был.

– Мало ли кто тут был! Не знать же мне всех.

– Ах, няня! Няня! Бог с тобой! Ничего ты не знаешь. И Крылов, говорит Саша Грибоедов, был здесь, а ты и его мне не показала... А он басни сочиняет...

– Да что ты, прости господи, белены, что ли, объелся! – отчаянно защищалась старуха. – На-ко чего выдумал! И сказки ему сказывай, и сочинителей подавай – жирно будет... Да пора и домой – молоко кушать... Вон Лиза Сперанская с Соней и с папой давно ушли.

Но арапчонок не унимался и продолжал капризничать:

– Ешь сама молоко... целуйся со своим Сперанским...

– Да на что вам, батюшка барич, эта старая карга – Державин? – вступилась та нянька, что ходила за Сашей Вельтманом. – Я жила у них – пресварливый старикашка, ничем на него не угодишь... А теперь уж он и мышей не давит – какой он сочинитель!

Арапчонок так и покатился со смеху:

– Мышей не давит! Вот выдумала! А прежде он разве давил мышей? Разве он кот?

– Ну, пойдем же, пойдем, – настаивала няня, – а то как мамашенька увидят, что Сперанские-то уж пришедши с гулянья, а нас нет, так мне же, старой, и достанется за вас.

А Сперанские действительно воротились на свою дачу, на Каменный остров. Сальватори, представленный Сперанскому генералышею Свечиной в качестве московского гостя и человека бывалого и наговоривший любимцу императора так много любезностей, что они от излишнего изобилия не могли не потерять своей ценности, просил позволения представиться «великому человеку в особой аудиенции» и, получив согласие, остался со Свечиной. Старые кости Державина увезены были с пуэнта еще раньше, а Карамзин с Тургеневым отправился искать адмирала Мордвинова, чтоб потолковать с ним о «слепом Якуне», не дававшем спать историографу. По дороге к Сперанскому присоединялись мать Сони Вейкард и Магницкий, Михайло Леонтьевич, молодой человек – неудачная креатура Сперанского.

Магницкому, имя которого впоследствии заслужило такую постыдную известность в истории русского просвещения, было в то время около двадцати восьми-деяти лет. Это была личность, по-видимому, ничем не выдававшаяся, представлявшая что-то вроде гладко отполированной плоскости и по внешности, и по характеру, тем не менее она обладала необыкновенным талантом – талантом подлаживаться под всякое положение, под всякую личность, и подлаживаться так мастерски, что подлаживание это не казалось ни холопством, ни заискиванием. Сперанский не терпел холопства, как и заискивания; еще презрительнее казалось для него подлаживание, как бы оно ни было искусно. «Заискивание – это кража чужой совести, – говорил он, – а подлаживание – это нравственный подлог», – и между тем Магницкому до некоторой степени удалось совершить этот подлог: так глубоко коренились в нем эти нравственно-воровские инстинкты и так искусно умел он делать фальшивые подписи – не рукой, а языком, голосом, выражением глаз, удачным вопросом, желательным ответом. И Сперанский не только терпел его, но и приблизил к себе – в доме Сперанского Магницкий был своим человеком. Таким же своим человеком была и г-жа Вейкард, «титularная мама» Лизы, как называл ее Сперанский. «Титularная мама» была добрейшее, вполне обрусевшее немецкое существо, и хотя родитель ее, герр Амбургер, был банкир по плоти и крови и деньги были его стихией, вне которой он задыхался и бился как рыба на льду, однако «титularная мама», может быть вследствие этого самого, чувствовала отвращение к деньгам, которые, как выражался Сперанский, с детства «отравили ее золотым ядом». Это была женщина средних лет, более клонившихся на сторону молодости, чем на сторону ей противоположную, и средней полноты; ходила же она немножко с перевалочкой, словно утка, и эта утиная грация очень шла к ней.

Дача Сперанского фасадом выходила на Малую Невку к стороне Новой Деревни. С балкона сквозь зелень шоссейной аллеи видна была гладкая поверхность Невки, по которой скользили разукрашенные ялики с высоко поднятыми, точно петушиные хвосты, кормами. Иногда слышно было пение катающихся.

Вечер выдался тихий и теплый, и Сперанский, воротившись с гулянья, пожелал пить чай на балконе, что он позволял себе очень редко, утверждая, что петербургское лето создано специально в пользу зубных врачей и что Петр, перенеся столицу России в Петербург, привил своему царству хронический государственный флюс.

– Но ведь флюс, ваше превосходительство, есть признак гнилого зуба, – заметил Магницкий.

– Да. И этот гнилой зуб России – есть Петербург, – серьезно отвечал Сперанский.

– И этот зуб, по вашему мнению, следует вырвать?

– Вырвать... как столицу, а не как порт.

– И перенести столицу в Москву?

– О нет, – меньше всего в Москву... Вы, кажется, знаете, что я не сторонник квасных московских патриотов вроде Ростопчина и Глинки, и меньше всего мои мнения сходятся с мнениями противников Петра... «Матушка Москва» и «белокаменная Москва» еще долго будет оставаться Меккой русского народа, то есть государственной квашней, в которой вечно будет всходить опара обскурантизма.

– А где бы вы лучше желали видеть русскую столицу?

– В Киеве или в Одессе... А еще лучше – знаете где?

И Сперанский остановился. Магницкий недоумевал.

– У нас в деревне, папочка, в Великополье, – вмешалась Лиза.

Сперанский рассмеялся и погладил Лизу по голове.

– Почти-почти что в Великополье... В Константинополе была бы когда-нибудь русская столица, если б... если б... – И он не договорил.

– Что – если б, ваше превосходительство? – с любопытством спрашивал Магницкий.

– Если б не... если б, – как-то задумчиво сказал Сперанский, – если б... если б не московская опара...

Он замолчал и, обратившись к Лизе, которая вместе с Соней освобождала муху, попавшую в паутину между балясинами балкона, сказал:

– Поди, Лизута, и ты, Соня, – порадуите маму: я сегодня хочу на балконе пить чай.

– Ах, как весело! Ах, папуля! – заболтали девочки и бросились искать «титულлярную маму».

В это время на балконе словно из земли выросла казенная фигура. То был стереотипный образец министерского курьера, привезшего из города вечернюю почту. В руках у него был портфель.

– Здравствуй, Кавунец! – ласково сказал Сперанский.

– Здравия желаем, ваше превосходительство! – отрубил Кавунец и кашлянул.

– Что нового в городе?

– Не могу знать, ваше превосходительство!

– Душно, должно быть?

– Не могу знать, ваше превосходительство!

– А как тебе нравится сегодняшний вечер? – со сдержанной улыбкой спросил Сперанский.

– Не могу знать, ваше превосходительство!

– Спасибо. Дай портфель. Ступай и вели дать себе стакан водки.

– Покорнейше благодарим, ваше превосходительство!

Курьер торжественно удалился с скромным сознанием, что он хорошо исполнил свой долг.

– Превосходнейший курьер, – исполнитель и точен, как хронометр, сметлив, расторопен и стереотипен, как машина, – заметил Сперанский по его уходу. Только на нашем бюрократическом заводе выделяются такие машины-люди, как этот Кавунец. А он далеко не глуп, ни разу он не перепутал ничего и не переврал даже ни одного словесного приказа. Зато – лаконичнее спартамца: он отвечает только на служебные вопросы, а на все остальное у него один ответ: «не могу знать», то есть не курьерское это дело и курьеру об этом говорить неприлично: знай, дескать, службу и не в свое дело не суйся.

Говоря это, он вынимал из портфеля пакеты, быстро, почти не глядя, пробежал надписи их, так же быстро, привычными к делу пальцами оборачивал пакеты кверху печатями, взглядывал на печать и откладывал в сторону. Два пакета он рассматривал долее других.

– Это частные... и оба «в собственные руки», – тихо говорил он. – Ну, эти можно и здесь прочесть, а заклание сих жертв, казенных, отложу до после чаю, на алтаре чиновничьего бога – гусяного пера...

И он распечатал одно из частных писем. Глаза искали подписи.

– Ба! Легко на помине... «совершенно конфиденциально...». Что это с Силой Богатыревым? То у него даже «мысли вслух на Красном крыльце», то совершенно конфиденциальные письма, как будто могут быть полуконфиденциальные... Странное стечение обстоятельств: сегодня генеральша Свечина подкинула мне на гулянье этого макарони-Сальватори, а теперь Ростопчин пишет о нем же...

– Конфиденциально? – равнодушно спросил Магницкий, поглядывая на свои башмаки с пряжками.

– Совершенно конфиденциально... предостерегает... Сила Богатырев не на шутку, кажется, собирается вступить в единоборство с Наполеоном, принимая его за Редедю...

– Но ведь это «совершенно конфиденциально», вероятно, для одного Сальватори только? – еще равнодушнее спросил Магницкий.

– И для Наполеона еще, – прибавил Сперанский. – Он пишет, что имеет основательные причины утверждать, что именуемый себя доктором Сальватори состоит на негласной службе у Наполеона, то есть шпион будто бы, и что «с поездкой его в Петербург соединена тайная миссия – исследовать состояние умов в столице и испытать то, что должна знать только русская грудь да подоплека...».

– Да, слог совершенно Силы Богатырева, – заметил Магницкий. – Да что он там – разве ему поручено управление Москвою?

– Нет. Но после того, как его «Мысли вслух на Красном крыльце» сделали в Москве его имя таким же популярным, как популярны царь-пушка и царь-колокол и московская квашня окончательно вспучилась, он забрал себе в голову, что от него зависит спасение России.

– Но согласитесь, Михаил Михайлович, – в его «Мыслях» есть места несравненные по остроте... Вот хоть бы то место, где он, осуждая наше французолюбие, говорит, что мы все переделали на французский лад, что у нас теперь «бог помочь» – *bon jour*²⁸, отец – *monsieur*²⁹, холоп – *mon ami*³⁰, Москва – *ridicule*³¹, Россия – *fi donc*³²! Это очень остро.

– Остро, но бесполезно, как царь-пушка, которая не стреляет, и как царь-колокол, который не звонит... Не французы, мой друг, нам опасны, а московская квашня с московскими дрожжами и московской опарой... Французы, мой друг, и древние греки – вот два народа, величайших в мире, которые проливали свет во все концы вселенной. Уже около полу столетия, как Франция изображает собою того мифического Элиоса, которого стрелы живительны, – плодотворны и живительны для одних и смертельно ядовиты для других. Около полу столетия взоры всех народов, как заколдованные, устремлены в сторону Франции, одни – с мольбою и ожиданием какого-то неведомого блаженства, другие – со смертельным ужасом. Никогда еще ни одно человеческое имя не гремело во всем мире такою славою, как имена Вольтера, Дидерота, Даламберта, Жан Жака Руссо, а потом и Бонапарта, – имена не царственных, не коронованных особ, а простых мыслителей. Такие славные царственные личности, как блаженные памяти Великая Екатерина и Великий Фридрих прусский, считали за честь для себя дружбу сих философов и гордились перепискою с ними. Да и неудивительно, друг мой: философы сии давали законы царям и народам, правили рукою и мыслию

²⁸ Добрый день (*франц.*).

²⁹ Господин (*франц.*).

³⁰ Мой друг (*франц.*).

³¹ Смешная (*франц.*).

³² Ну вот! (*франц.*).

властителей земных, изменяли лицо земного шара. Кто потушил озарявшие страшным светом зарева Европу костры, на которых инквизиция сжигала тысячами свои жертвы, принося сии ужасные человеческие гекатомбы в течение столетий, – кому же? Доброму Богу! Кто потушил костры сии дуновением своего великого духа? Француз Вольтер... Теперь, друг мой, точно из «горушного зерна» вышло другое что-то великое-великое в своих замыслах и исполнении, хотя страшное своею разрушительностью. Сие великое – сын простой корсиканки, который, кажется, в состоянии теперь, топнув ногою об землю, опрокинуть эту землю, расплескать океаны, вот как «титularная мама» расплескала мой стакан с чаем...

«Титулярная мама» кротко улыбнулась, с любовью глядя на своего «*Esperance de Russie*»³³, как она его называла: заслушавшись его, она действительно пролила его стакан и покраснела. Зато девочки набросились на нее так, что едва не опрокинули самовар:

– Ах, мама расплескала океаны!

– Ах, мамуля Неву выплеснула!

– Кто ж станет оспаривать у него это величие! – пробормотал Магницкий и, как бы зондируя душу Сперанского, прибавил: – Да по отношению-то к России – Ростопчин чуть ли не прав.

– Россия, друг мой, – это канцелярский бланк на огромнейшем, еще невиданном в мире листе бумаги, бланк, на котором столетиями слабые руки силятся что-то написать; пишут безграмотно подчас, подчас жестоко, разными почерками и разными стилями, но такими скверными чернилами, что они от света не только линяют, бледнеют, но и совсем пропадают, и пропадает написанное и нацарапанное на бланке. Писал на этом бланке и Мономах, и Ярослав, и Батый, и Грозный, и Петр Великий... Пишет теперь и Ростопчин, и Карамзин, – Глинка даже пишет, просто уставом с киноварью выводит патриотические ирмосы да кондаки, а бланк все остается бланком... Что напишет на сем бланке всеильная рука Господня, не знаю, но провижу хорошее, хотя не скоро... Теперь Москва нахлобучила себе на глаза шапку Мономаха, надела на ноги лапти стопудовые, вздернула на себя рубаху и порты сермяжные, подпоясалась мочалкой и, опираясь на дубинку, кричит: «Долой французов и все французское! Долой книгу, ум, знание! Будем верны своим лаптям и сермяге! От французов исходит все злое, и книги их злы, и знания злы, и просвещение, растлевающее, и потому все чужое долой!» Но не надо, друг мой, смешивать шапку с головой и Наполеона с Францией и Просвещением. Вы знаете, что когда в девяностых годах французы раздавили веред, сидевший на теле Франции, материя, попросту, гной от этого вереда брызнул так далеко, что попал в Россию... Простите, мамочка, что я так гнойно выражаюсь, – обратился он к г-же Бейкард, – но я не могу подобрать более верного сравнения.

– Прости его, мамуля! Прости, мамчик! – забормотали девочки, кушая, как котят, молочко с французской булкой.

– Продолжайте, *mon Esperance*³⁴, – весело сказала «титularная мама», – я вас внимательно слушаю.

– Гноем чирья я называю французских эмигрантов, которые в течение пятнадцати лет, словно мухи, засиживающие зеркало, засиживали русское высшее общество, засиживали его своими бурбоническими, аристократическими, католическими и иными засиживаниями... Это была действительно гнойная материя для России. А эту материю Ростопчин и Глинка приняли за то, что есть лучшего во Франции и в мире, и объявили от имени московской квашни войну западному Просвещению. Оно, говорят, само по себе, а мы сами по себе: напаше Вассиан Рыло выше Монтестье, все эти Вольтеры, Дидероты и Декарты в подметки не

³³ «Надежда России» (франц.).

³⁴ Моя Надежда (франц.).

годятся нашему Симеону Полоцкому³⁵ и Лазарю Барановичу³⁶, а Григорий-де Сковорода³⁷ за пояс заткнет их Шекспира... Вот до чего они договорились, и все это потому, что, между нами, наши военачальники пигмеями перед Наполеоном оказались... Он действительно топнул ногой... (Сперанский улыбнулся) и... и перемешал полюсы земли.

– И расплескал океаны? – коварно заметила Лиза, которая, кушая молочко, не проронила ни одного слова из того, что говорил отец.

– Нет, папин стакан расплескал, – возразила Соня.

– Стакан само собой, моя крошечка, но он такой господин, что может и молочко у вас отнять, – отвечал Сперанский, которого на все хватало – и говорить о деле, и болтать с детьми.

– А мы будем тогда простоквашу кушать, папуля, – простокваша очень вкусная, – возразила Лиза.

– А простокваша из чего делается?

– Из коровы, – торжественно отвечала Соня.

В это время из-за дачной ограды послышались детские возгласы, и знакомый всем голос выкрикивал:

О, лето, лето горяче!
Обильно мухами паче!

– Ох, Господи! Что за ребенок! Вот наказание! – плакала нянька.

– Это Саша Пушкин, – пояснила Лиза. – Он все из Тредьяковского, всего его наизусть знает.

– Преострый мальчишка! Что-то из него выйдет? – говорил Сперанский, прислушиваясь, как арапчонок продолжал выкрикивать:

Замерзают быстры реки,
Лезут в дубы человеки...

– Однако вы, кажется, не дочли до конца письма Ростопчина? – заметил Магницкий впросительном. – Мы вам помешали.

– Нет, любезнейший Михайло Леонтьевич, – это я сам себе помешал...

Ростопчин пишет, что так как, дескать, вы близки к особе государя императора, то Сальватори будет стараться проникнуть в ваши, то есть мои, мысли по отношению к Бонапарту, чтобы знать, с которой стороны подъезжать... Что ж им до моих мыслей о Наполеоне! Я не поклонник этого господина, я вообще не поклонник этого сорта господ – они разрушают то, что созидает разум; но, по моему мнению, России безопаснее быть в ладу с умным и сильным человеком, а то, чего доброго...

– Отнимет простоквашу? – засмеялась «титularyная мама», вытирая салфеткой губы у своей Сони, – простоквашу, которая делается из коровы.

– Да, простоквашу, – подтвердил Сперанский.

Взяв со стола другое письмо и взглянув на подпись, он с недоумением сказал:

³⁵ Симеон Полоцкий (1629–1680) – известный русский церковный деятель и писатель.

³⁶ Лазарь Баранович (1620–1693) – литератор и общественный деятель Южной России. Отстаивал автономию и административную свободу Малороссии. Заботился о подъеме образования, улучшении быта низшего духовенства и расширении сети школ и типографий.

³⁷ Сковорода Григорий (1722–1794) – украинский философ. Будучи отстраненным от административных должностей, большую часть жизни провел в постоянных странствиях, поучая людей нравственности как словом, так и своим образом жизни.

– Дуров... какой это Дуров?.. Писано из Сарапула... ничего не понимаю!

«Ваше высокопревосходительство, милостивейший государь мой! – читал он вслух. – Осмеливаюсь прибегнуть к вам не как к сановнику, у престола правления монаршею милостию поставленному, а как к человеку и отцу. В бытность мою, два года назад, в Санкт-Петербурге по делам службы, я, будучи милостиво принят и обласкан вашим высокопревосходительством, имел счастье получить прощальную аудиенцию для выслушания словесных приказаний ваших и, быв на тот раз допущен в кабинет вашего высокопревосходительства, я видел у вас на коленях прелестного ребенка...»

– Постой, папа! Это обо мне! – перебила его Лиза, по-видимому, не слушавшая чтения и укладывавшая в постельку свою любимую куклу, «Графиню Тантанскую». – Обо мне?

– Нет, это, верно, об чужой девочке, – улыбаясь, сказал Сперанский.

– Нет! Нет, папочка! Обо мне...

– Ну, хорошо... Посмотрим, что дальше... Вот чудак! Когда же это я принимал его с Лизой на руках?..

– Вероятно, ваше превосходительство были нездоровы и не выходили из кабинета, – пояснил Магницкий.

– А может быть... Ну, что там еще? Зачем ему понадобился «прелестный ребенок»?

«Это была, как я узнал, ваша дочь, и я видел, с какой нежною родительскою любовью вы на нее глядели...»

– Еще бы! – под нос себе заметила Лиза, по-видимому, вся поглощенная укладываньем в постель «Графини Тантанской».

«Ваше высокопревосходительство! У меня тоже была девочка, и вы поймете, как тяжело мне было ее лишиться. Я бы покорился воле Божьей, если б моя дочь умерла: но меня постигло другое несчастье. Едва лишь моей дочери минуло пятнадцать лет, как она, не сказав никому ни слова, ночью оставила родительский дом, взяв из конюшни лошадь, которую я же подарил ей для катанья, и в казацком одеянии пустилась в неведомый путь...»

– Ах, папочка! Вот храбрая какая! – восторженно воскликнула Лиза и даже позабыла о своей «графине».

– А что, разве и ты хочешь бежать от меня? – улыбнулся Сперанский.

– Нет, папа, – я боюсь мышей...

– Вот тебе на! При чем же тут мыши?

– Да мы вчера с Лизой смотрели, как Кавунец давал своей лошади овса из ведра, – и оттуда выскочила мышь – мы с Лизой и испугались, – пояснила Соня.

– А! Понимаю... глубокое, хотя отдаленное сопоставление...

«Это было 17-го сентября прошлого года, и до сей поры я не имею о своей дочери никаких известий. Все поиски мои оказались тщетны. Теперь слухи до меня дошли, что в одном из уланских полков действующей армии находится молоденький улан, на коего падает подозрение, якобы он есть переодетая девушка. Родительское сердце мое подсказывает мне, что это – дочь моя Надежда. С просьбами моими по сему предмету я неоднократно обращался к господину главнокомандующему действующею армиею и господину военному министру, а также утруждал прошением и графа Аракчеева, но на просьбы мои не получил никакого ответа. Ваше высокопревосходительство! К вашему родительскому сердцу осмеливаюсь я прибегнуть ныне. Именем дочери вашей умоляю вас: примите участие в глубокой горести старика отца, который просит об одном – только осведомления и наведения справок о его погибшем детище...»

Сперанский остановился. Лиза и Соня напряженно ждали, не спуская глаз с задумчивого лица его. На глазах девочек искрились слезы.

– Папа! Найди ее! – шептала Лиза, ласкаясь к отцу.

– Да, это, должно быть, она, – сказал Сперанский в раздумье. – Сегодня Тургенев читал нам письмо к нему Дениса Давыдова, адъютанта генерала Багратиона, и Давыдов положительно говорил, что в войске упорно держится слух, что в последних битвах принимала участие переодетая девушка.

– Ах, это она, папа, она! – заволновались девочки.

– Ну, дети, пора спать... Вы уж и так сегодня заболтались, – сказала г-жа Вейкард. – Вон уж сон давно ходит по острову и спрашивает: у кого не спят дети?..

Сон действительно ходил по острову и закрывал людям усталые глаза.

12

Ходить сон по улице
В билесенький кошулонци.

Так рисуется сон в украинской колыбельной песне. Сон – в белой рубашке, но он же и с белой, как иней, бородой. Сон очень стар. Он так же стар, как и мир Божий... Вечно ходит он по миру, невидимый и неосязаемый, и часто является там, где его не просят, и уходит оттуда, где ждут его как доброго гения. Сколько сон принес утешения людям – этого люди и выразить не в состоянии... Когда Адам и Ева изгнаны были из рая и очутились в неведомой пустыне, сон первый принес им успокоение: он, не слышно ни для кого, перенес их обратно в потерянный рай и подкрепил их усталые; разбитые страданием члены... Как добр был сон, когда после ужасного дня закрыл усталые, и распухшие от слез вежды Гекубы и снова показал ей все, что было уже навеки потеряно. Живым встает в моем воображении этот седобородый старик, который бродит во тьме южной ночи по «стану Атрида» и своею доброю рукою закрывает глаза героев от тех ужасов, которые совершились или должны были совершиться. Бродит он и по стогнам священного Илиона в последнюю ночь перед его падением, грустно бродит, зная, что в следующую ночь ему придется бродить по грудам развалин и по кучам пепла... И у Цезаря он гостил в последнюю ночь перед «идами марта» и навевал ему грезы о прошлом, сулил светлое будущее, закрыв собой ножи, которые в ту ночь уже точились на лысую, прикрытую лаврами голову даровитого автора «комментариев»...

Ходит сон и по Петербургу, и по островам его, бродит и по Каменному острову, и по Черной речке... но упрямый и капризный старик не ко всем заходит. Охотнее идет он в бедные, жалкие, грязные лачуги и дает успокоение усталым, опечаленным, бедным, голодным... Вон как ни гонит его от себя усталый человек, а старик так и лезет на него, так и валит его с ног... А вон мечется на роскошной постели изнеженное тело, горит огнем от бессонницы, а сон нейдет – не любо ему в богатых палатах, на мягких ложах...

Пришел сон и к Лизе, и к Соне. Спят они в своих постельках, задернутые белыми, как борода у старого сна, прозрачными занавесками. И видится Лизе, что она, в казацком платье, в кивере и с пикой, едет по Елагину острову верхом на коне. Это конь курьера Кавунца... Далеко, далеко едет Лиза от папы... Бедный папа! Как он будет плакать о своей Лизе – будет искать ее, как Дуров ищет Надю... А Лиза возьмет в плен Наполеона и привезет к маме... А то он, говорят, отнимет у всех молоко и простоквашу... Прощай, папа, прощай, Соня... Едет Лиза, едет... и вдруг из ведра с овсом выскакивает мышь в виде Саши Пушкина и кричит: «Стрекочущу кузнецу!..» И Лиза от испуга просыпается...

Старый сон и на Соню навевает грезы, только странные такие: на Лизиной постельке спит не Лиза, а дедушка Державин в бархатных сапогах, а у него в руках Лизина кукла, «Графиня Тантанская»... А тут стоит курьер Кавунец, и что у него ни спросит Соня, на все он отвечает: «Не могу знать! Не могу знать!..» И дядя Магницкий спрашивает Кавунца: «Кто расплескал океаны?» А Кавунец отвечает: «Не могу знать».

Бродит старый сон из конца в конец земли, бродит неутомимый, на клюку опирающийся, на людей дрему насылаючи. Одолеет сон-дрема и Магницкого... Поручил ему Сперанский составить экстракт из обширной записи Румовского Степана Яковлевича, попечителя Казанского округа, о новых мерах Казанского университета – для доклада государю... Далеко за полночь сидел Магницкий над этой запиской, ему в голову все лез Наполеон, топавший ногою в шар земной... И видится Магницкому, что Наполеон дает ногою пинка земному шару, и земной шар вертится как кубарь в пространстве, а на высокой скале стоит Спе-

ранский, в ореоле славы и блеска, и говорит Наполеону: «Не доплеснешь до меня океанами, не замочишь морями ног моих – высоко стою я...» И хочется Магницкому столкнуть Сперанского с высоты – и он сталкивает его... Ух! Погиб Сперанский, а на его месте стоит Магницкий в ореоле величия... И гордый Наполеон протягивает ему, Магницкому, руку, а Магницкий отворачивается от него и видит государя... «Ваше величество! – робко шепчет он. – Ваше величество!» – «Не могу знать!» – отвечает государь... И Магницкий видит, что это не государь, а Кавунец... Ух!.. И Магницкий просыпается – записка Румовского не дочитана... Зло иногда шутит старый сон, ох, как зло!

Только Сперанского не одолевает старый сон... Далеко за полночь шуршат бумаги в кабинете Сперанского, и по временам скрипит перо, да скрипит так неровно, нервно... Груды бумаг наметаны на огромном письменном столе с ящиками. На столе, на конторке и на полу разбросаны книги, брошюры, рукописи... Беккарий, Монтескье, Вентам, Делольм, «Конституция Англии», «Вестник Европы» – иные книги раскрыты, другие переложены закладками, исчерчены и испещрены пометами!.. У стола сидит Сперанский и перелистывает толстую, увесистую, четко и красиво переписанную тетрадь и, по временам заглядывая в книгу – «Конституция Англии», делает карандашом отметки, то в книге, то в рукописи... Иногда голова его откидывается на спинку высокого, изогнутого стула, и он несколько минут остается так, с закрытыми глазами... Можно подумать, что он спит и бредит... «Уже он начинает склоняться к мысли о возможности представительства», шепчет он: «Начало уже сделано в учреждении министерств; остается определить круг деятельности „совета“ и возложить на него „ответственность“... Надо ожидать и дальнейшего согласия»... И нагнувшись к рукописи, он на поле приписывает карандашом: «Представительство страны и ответственность министров: есть меры, кои одно лицо, даже и всемогущее, не может или не должно принимать на свою ответственность. Таковы суть подати и налоги. Несвойственно и неприлично верховной власти представляться в виде непрерывной нужды и умножать народные тягости. Пусть рассчитывают министры, присуждает совет; и государь должен только прилагать к ним печать своего необходимого утверждения»³⁸. Министры же должны быть ответственны пред представителями страны...» Затем он встал и в волнении заходил по кабинету, по временам нервно встряхивая головой, как бы отгоняя от себя рой волнующих его мыслей... «Он сам сказал недавно: „Я на пути к реформе – и рад этому, ибо могу дать моим верным подданным то, чего не могли и не умели дать мои предки“», – шептал он, с любовью оставившись пред портретом юноши с короной на голове... А ночь уже близится к исходу, а сон все не смеет постучаться в кабинет, заваленный бумагами и книгами... Где-то ударил церковный колокол – раз... два медленно, ровно, глухо гудит колокол... Сперанский подходит к окну и задумывается...

У Данилы у попа —
В большой колокол звонят,
В большой колокол звонят —
Знать Параню хоронят, —

звучит у него в голове, вместе со звоном колокола эта странная детская песенка, которая и его самого переносит в детство... Никогда он не может слышать церковного звона, чтоб у него в мозгу и в сердце не зазвучал горький для него, грустный, много напоминающий мотив:

У Данилы у попа —

³⁸ Из отчета, представленного Сперанским императору Александру I («Сборн. импер. истор. общества», т. XXI, 449).

В большой колокол звонят...

О! Как давно это было и как далеко!.. Мише Сперанскому не больше восемнадцати-девятнадцати лет, а Паране, дочери соседа, попа Данилы, не больше шестнадцати... Миша учился во владимирской духовной семинарии и уже дошел до философии. На закат Миша из Владимира приходит домой в родное село, приходит пешком!.. Эх! Да и куда бы тогда не занесли его молодые ноги! – и в ад, и в рай, в Иерусалим и в преисподнии земли... Ходит Миша в лес за ягодами, за грибами, и Параня ходит с подружками... Эти встречи в лесу, беседы наедине... Забили тревогу молодые сердца, и Параня слышала, как под философским подрясничком сильно колотится философское сердце Миши, и Миша слышал, как под белою сорочкою трепыхается девическое сердце Паранино... И Паранины розовые губы испытали, как горячи губы, с которых иногда срывались непонятные для Парани философские тонкости, и губы философа Миши познали вкус Параниных губ – «слаще меда и вина...». И порешил Миша философ скорее пройти богословие и, получив сан иерея в родном селе, жениться на Паране... Но не к тому готовила Мишу судьба: когда Миша собирался идти во Владимир уже на богословский класс, Параня захворала оспой и в несколько дней умерла... Миша думал, что с ума войдет, как в церкви у попа Данилы, у отца Парани; гудел колокол по Параниной чистой душеньке и как день и ночь в безумной голове его звучал напев:

У Данилы у попа —
В большой колокол звонят...
Знать Параню хоронят...

И похоронили Параню, а Миша не сошел с ума... Но он дал себе безумный зарок: в память Парани никого не любить и никогда не жениться; а завоевать себе званием и трудами другую невесту – церковь: пройти все богословские мудрости, надеть на себя черную рясу и клобук и идти дальше – до епископской шапки, до архиепископской и, наконец, до белой шапки митрополита... И Миша было сдержал слово: какие силы гиганта проявил в пятьдесят лет!

И куда девался тот маленький Миша еще – не Сперанский, а просто попович, Михайлин сынишка, который, соскочив с печки, где он зарывался во ржи, сохшей на печи, выбежал босиком на двор и бегал по снегу, желая убедиться, может ли он, когда вырастет большой, выдерживать трудные подвиги аскетов – голодать, ходить бовиком и в веригах?.. И куда девался тот Миша, уже не просто Миша, а Сперанский, sperans – «надежды подающий», как прозвал его отец ректор, – Миша быстроглазый и звонкоголосый, так бойко переводивший из Корнелия Непота? Куда девался философ Миша, собирающий грибы вместе с Паранею?.. Миша – богослов, уже звезда семинарии, а там он уже в Петербурге, в лавре, работает как вол и весел, остроумен... Память у него бездонная прорва, в которую все валится без разбору, и все там остается, систематизируется и бьет ключом знаний... «Ты что, Сперанский, носишь тулуп на одно плечо?» – спрашивают его товарищи-бурсаки. «Приучаю себя к собольей шубе...» И вот у него теперь уж и соболья шуба – он первое лицо в государстве после царя...

– К заутрене звонят, – шепчет он, задумчиво стоя у окна и глядя на просыпающуюся реку, – пора и мне спать... Эх!.. «У Данилы у попа – в большой колокол звонят...» Звоните, звоните! Да будет благословенна память прошлого.

И Кавунцу старый сон навевает грезы, воспоминания молодости... Спит Кавунец на крыльце, прикрывшись шинелью, и грезится ему, что он парубок, что еще его не брали в «москалии»... Косит он зеленую траву и поет:

Ой, любив я дивчинку Кулину,
Та носив я до Кулины калину...

Только во сне Кавунцу и вспоминается его родная Украина, а наяву он не позволяет себе и думать о ней: «Сказано – служба...» Если б его даже спросило начальство: «хочешь ли ты, Кавунец, домой, на побывку?» – он, наверное, отвечал бы: «Не могу знать! Про то начальство знае». И Кулину свою он не смеет днем вспоминать, и только во сне приходит к нему его первая любовь, его «товстокося Кулина», которой он носил калину и свое казацкое сердце... Зачерствело теперь это сердце: вместо Кулины в нем приютились только казенные пакеты и вытеснили из сердца и родину, и первую любовь... Но это только кажется... Да, Кавунец, кажется? – «Не могу знать!»

Спит и Саша Пушкин. И его неугомонную, курчавую головку уgomонил старый сон. И грезится ему, что он – старый, старый старичок, такой, как дедушка Державин, – «уж и мышей не давит», – смешная нянька! Какие глупости говорит. И подходит к Саше другой старичок, в парике и в красных чулках, и говорит: «Как ты смеешь насмехаться надо мной, клоп этакой! Знаешь – кто я? Я – автор „Телемахиды“... Я бессмертный Тредьяковский! А ты – ничтожество: ты умрешь – и никто об тебе не вспомнит; а мое прелестное произведение „Стрекошущу кузнецу“ Россия вечно будет помнить». И Тредьяковский исчезает, а вместо него приходит Черномор, о котором няня рассказывала, и говорит так хорошо, лучше даже, чем дедушка Державин:

У лукоморья дуб зеленый,
Златая цепь на дубе том,
И днем, и ночью кот ученый
Все ходит по цепи кругом...

- Няня! Няня! – кричит Саша, вскакивая с постели.
- Что ты? Что с тобой? – испуганно спрашивает няня.
- Ко мне Черномор приходил...
- Господь с тобой... Спи, спи, неугомонный...
- Ах, няня! Да я даже помню, что он мне говорил.

И мальчик, воображение которого воспалено сказками старой няньки, повторяет стихи, навеванные ему тревожною, сонною грезой: «У лукоморья дуб зеленый...»

– Ох, Господи! – стонет нянька: – и сна-то ему нет. Ох, Заступница!

Но мальчик скоро опять засыпает.

А сон все бродит, опираясь на свою клюку, и словно дождем посылает грезами сонных людей. Целый мир видений в распоряжении седоволосого старика – есть и светлые видения, есть и мрачные, мучительные.

Старику Державину грезится, что он лежит в мрачном могильном склепе.

Душит его могильная затхлость, а в мрачном воздухе, словно летучие мыши, носятся тени тех, кого он пережил в своей долголетней жизни, и холодными крыльями задевают его похолодевшее лицо. Только в одном уголку склепа светится огонек, но такой зловещий, словно глаз нечистого, и этот огонек освещает гробовую крышку, а на крышке – корону. Тихо, тихо поднимается крышка на этом гробе, а из гроба поднимается мертвое лицо с остеклевшими глазами. Ужас и трепет! – это лицо «Фелицы». «А, Гаврило Романович! – говорит Фелица. – ты забыл меня... Ты теперь другим подслуживаешься?.. Так помни, что у меня был Шешковский». – И гробовая крышка опять захлопнулась за нею. Но вслед затем открываются двери склепа, и входит Шешковский. Старик в ужасе просыпается.

– Ох, – стонет он, – куда девались мои молодые сны? Теперь или бессонница тебя мучит, или страсти лезут в очи, лишь только закроешь их... Ох, старость, старость!

А Карамзину грезится, что он сидит в темном архиве и перебирает свитки рукописей. И кажется ему, что он сам живет в удельный период, и то он целует крест киевскому князю, то черниговскому, а кругом «котора», «розратье». Мысль, постоянно вращающаяся в древности, и сны приносит ему из далекого прошлого: то встанет перед ним Василько в кровавой рубашке и с выдолбленными глазами, то «слепой Якун» в виде Тургенева. «Зачем ты ослепил меня? – плачет он. – Я вовсе не был слеп». Это историческое сомнение приходит к историку в образе сонной грезы и наводит его на вопрос: действительно ли Якун был слеп?... То грезится архивный кот в образе старого академика-немца, но только в бархатных сапогах Державина, и говорит: «Я не Василий Миофагов, а тот кот, который пришел с Рюриком из-за моря, чтобы есть новгородских мышей». То грезится «бедная Лиза» в образе Ярославны, которая, омочив «бебрян рукав» в Неве-реке, плачется на него, «аркучи тако»: «Ох, забыл ты меня, забыл свою бедную Лизу ради Рогнеды... все забыл ты ради твоей истории... О, противная лгунья! Противная история! Никто столько не лгал и не лжет, как она, – и я удивляюсь, как еще могут заниматься ею умные люди. О, лгунья старая! Лгунья, низкопоклонница, салопница-ветошница!..»

– А Тургенев прав, что я заработался, – бормочет Карамзин, просыпаясь и весь обливаясь потом. – У меня уж воображение расстроено, мысль путается. Мне верзится во сне Бог знает что такое...

И он силится отогнать от себя могильные призраки, хочется ему погрузиться в интересы текущей жизни; но странное дело: они стали ему менее близки, чем интересы мертвецов!

– Лгунья история!.. А ведь это не создание сонной грезы, а продукт моих сомнений... Разве мало лгала история, начиная от Гомера и Тацита и кончая Шлецером и Татищевым? Правда, она лгала неумышленно, она ошибалась, но все же историческая истина – это храмина, построенная на песке. В истории нет ничего прочного: открыт новый документ, выкопана какая-нибудь могильная надпись, и все здание, построенное на песке, рухнуло... Сколько российских историков явится после меня и осудят меня за ошибки. Эти судьи мои, может быть, еще не народились, но они народятся, и мой труд будет поставлен на последнюю, на заднюю полку российских книгохранилищ... Но я надеюсь, что судьи мои не упрекнут меня в пристрастии... Но кто знает!.. Бедная, бедная история!

И он снова засыпает, и снова седобородый сон навеивает на его усталую голову тревожные грезы, грезы сомнений и как бы исторических предвидений. «Лгунья история! Слепая, льстивая старуха...»

С Каменного острова старый сон перебрался через Невку и на Черную речку. Бредет он по берегу этой речки, повеивая своею седой бородой и навеивая на людей дрему и грезы. Пробирается старый сон на дачу Шрейбер, что против Строганова парка, и входит в небольшой деревянный домик, утонувший в зелени. На дверях домика, на медной дощечке написано:

«Иван Андреевич Крылов». Неслышными шагами вошел сон в этот домик; темно, тихо в передних комнатах. Сон дальше, к кабинету, где светится огонек и слышится шепот и сдержанный смех...

– Ах, ты, моя прелестница, цыпочка моя! – шепчет кто-то тихо, сдержанно – это Ивана Андреевича голос. – Как ты давно не была у меня...

– Тише, тише! – шепчет женский голос. – Там кто-то ходит...

А это ходит сон. Заглядывает он в кабинет и видит: вся комната завалена бумагами и книгами: книги на столе, на окнах, на полу, на кушетке; на полу же и синий фрак с золотыми пуговицами, и шляпа, и подтяжки. На письменном столе беспорядок ужасный: бумаги,

книги, платки, все это разбросано хаотически, а на самом видном месте лист бумаги, на котором на скорую руку набросано:

Беда, коль пироги начнет печи сапожник,
А сапоги тачать пирожник...

.....
Проказница Мартышка,
Осел,
Козел
Да косолапый Мишка.

Что дальше – не видать, ибо на этом самом месте, на исписанном листе, стоят рядом крохотные женские ботинки с розовыми бантами, а вправо от них – женская соломенная шляпка «пастушка», тоже с розовыми бантами, и высокий черепаховый гребень из женской косы...

– Прелестница моя! Прелесть моя милая! – доносился шепот из-за ширм.

– Ох, больно, Ваня... ты задушишь меня, – протестует женский голосок.

– Услада моя!

Сон махнул рукой и побрел далее, бормоча: «Тут мне нечего делать...»

И побрел сон на запад, далеко-далеко, где еще недавно лились реки человеческой крови.

Бродит сон у западных границ русской земли, бродит по Тильзиту, по полям, по деревням. Везде войска, пушки, обозы, табуны лошадей... С востока повеваает уже предрассветный ветерок и перебирает белые пряди волос старого бродяги-сна... Заглядывает сон в бедную, об двух окошечках, черную избушку, и белеющее с востока небо заглядывает туда же, в малые оконца. На дощатых нарах, устланных соломой, из-под уланской солдатской шинели выглядывает бледное, хотя сильно обветрившее и загорелое лицо молоденького уланика. Совсем ребенок! Лицо знакомое. Это лицо той девочки, что когда-то резвилась на берегу Камы и носилась иногда по полю на лихом коне. Да, это ее лицо, сильно изменившееся: детские очертания сменились более определенными линиями и изломами; выражение стало более характерно; но и во сне это молодое лицо не покидает какая-то сдержанность и сосредоточенность. Губы что-то шепчут. Видно, старый сон баюкает спящую грезами, видениями, картинками... Да, она видит себя в битве – как врезался в нервы этот свист пуль противных! И пули свистят. Но что до них! Вот гибнет раненый кто-то... Это, должно быть, Панин... Нет, не он: это тот молоденький, калмыковатый, симпатичный казацкий хорунжий, с которым она ехала от самой Камы. Это Греков. Она бросается к нему и поднимает его с земли. Она с трудом выводит его из-под пуль в небольшой лесок и кладет его голову к себе на колени... Какая-то дрожь пробегает по ее телу, не холодная, но жаркая дрожь, такая дрожь, какой она прежде никогда не испытывала. Раненый открывает глаза и, уткнувшись головой в ее колени, целует их, обнимает слабеющими руками ее стан, ноги и что-то шепчет ей такое жаркое, захватывающее дух... «Надя! Надя! Я люблю тебя, давно люблю! Я знаю – кто ты... Я полюбил тебя еще тогда, когда, помнишь, во время похода с Камы на Дон мы охотились в Даниловке и ты уснула на траве... Я люблю тебя, Надя! Жизнь моя, счастье мое!» Ох, что это с нею! Голова кружится, сердце перестает биться, в ушах и сердце что-то ноет, плачет – о! – да это страшнее, чем в пылу битвы...

И она мечется на своем соломенном ложе. Шинель сбилась к ногам. Руки бессознательно расстегивают ворот рубашки, обнажают грудь... не грудь, а груди... Ей душно, она задыхается, хочет вскрикнуть – и просыпается.

Краска так и залила лицо, когда она взглянула себе на грудь – на открытую грудь.

– Фу, какой сон! (А на сердце так хорошо – трепетно, жарко, а признаться не хочется.) Вот был бы срам, если б кто взошел, – но я заперла дверь... Какой сон!

Не такие грезы сыплет старый сон на спящую голову того, который искромсал Европу на куски, как тыкву для каши, и варит эту кровавую кашу с человеческими телами десятки лет, – того, который повыгонял королей и королев из их дворцов и владений, для которого земля становится тесною. Вот он лежит, скукожившись, такой маленький, тихенький, словно ребенок. Постель проста и вся бела, как колыбель ребенка. На белых подушках рельефно оттеняется маленькое тело великого императора. Он лежит на левом боку, скорчившись, как спят дети. Круглая, гладко остриженная, точно точеная, голова положена на подушку так, что античный профиль горбоносого императора ясно обрисовывается на белом полотне. Глаза закрыты, как у мертвеца, – так спокойно все лицо спящего и высокий лоб его. Ноги согнуты и поджаты так высоко, что вся фигура императора представляет фигуру младенца в том положении, в котором каждый младенец находится в утробе матери. Странное дело, глубокая тайна природы: до могилы, до последнего и вечного сна своего, сонный человек бессознательно принимает то положение, в котором он в первые месяцы своей утробной жизни находился во чреве матери. Таким утробным младенцем кажется теперь и Наполеон на своем простом императорском ложе: обе руки – эти страшные, заgreбистые руки, захватившие короны и скипетры у десятка владетельных особ и перекраивающие шар земной, словно не по мерке сшитый кафтан, эти маленькие, пухленькие, беленькие ручки засунуты между поджатых колен, а из-под сбившейся простыни видны голые подошвы маленьких ног – ну, совершенно спящий ребенок, прикорнувший после игры в мяч!

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.